



Фрэнсис ФУКУЯМА
**Конец истории
и последний человек**

NEOCLASSIC

Политика (АСТ)

Фрэнсис Фукуяма
**Конец истории и
последний человек**

«АСТ»

1992

Фукуяма Ф.

Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма — «АСТ»,
1992 — (Политика (АСТ))

ISBN 978-5-17-089637-0

«Конец истории и последний человек» – это одно из самых известных произведений философа и футуролога Фрэнсиса Фукуямы, ставшее международным бестселлером и переведенное на несколько десятков языков. Капиталистическая либеральная демократия, убеждает Фукуяма в своей работе, есть конец истории в привычном нам ее направлении. Современные технологии все более способствуют гомогенизации различных культур, достижения индивидуальные превалируют над коллективными. Результатом становится своеобразная «капиталистическая утопия» – идеальное общество потребления, прекратившее историческое развитие, замкнувшееся внутри себя и, следовательно, поглощенное лишь внутренними проблемами. Какой же станет философия «последних людей»? И не станет ли материальная утопия духовной антиутопией?

ISBN 978-5-17-089637-0

© Фукуяма Ф., 1992

© АСТ, 1992

Содержание

Благодарности	6
Вместо предисловия	7
Часть первая	16
Глава 1	16
Глава 2	24
Глава 3	31
Глава 4	42
Часть вторая	52
Глава 5	52
Глава 6	65
Глава 7	74
Глава 8	79
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Фрэнсис Фукуяма

Конец истории и последний человек

Francis Fukuyama

THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN

Перевод с английского *М. Б. Левина*

Компьютерный дизайн *В. А. Воронина*

© Francis Fukuyama, 1992

Печатается с разрешения автора и литературных агентств ICM, International Creative Management, Inc. и Andrew Nurnberg.

Благодарности

«Конец истории» никогда бы не появился на свет, ни в виде статьи, ни в виде этой книги, если бы не приглашение прочесть лекцию в 1989/90 учебном году, которое мне сделали профессор Натан Тарков и профессор Аллан Блум из «Центра Джона М. Олина по исследованию теории и практики демократии» при Университете Чикаго. Они оба – преподаватели с большим стажем и мои друзья, от которых я потрясающе много почерпнул за годы знакомства – в частности (но не только), политическую философию. Эта лекция легла в основу хорошо известной статьи, к чему приложили немалые усилия Оуэн Гаррис, редактор журнала «Национальный интерес», и небольшой штат сотрудников этого журнала. Эрвин Глайкс из «Свободной прессы» и Эндрю Франклин из «Хэмиш Гамильтон» убедили меня превратить эту статью в книгу и приложили руку к редактированию окончательного варианта рукописи.

Настоящий том невероятно много выиграл от бесед с друзьями и коллегами и чтения их работ. Наиболее важный вклад внес Абрам Шульский, который найдет в книге много своих идей и озарений. Я бы хотел выразить особую благодарность Ирвингу Кристолю, Давиду Эпштейну, Алвину Бернштейну, Генри Хигуэра, Йошихиса Комори, Йошио Фукуяма и Джорджу Холмгрену, которые нашли время прочесть книгу в рукописи и сделать свои замечания. Кроме того, я хотел бы поблагодарить многих людей, знакомых со мной и не знакомых, которые дали полезные комментарии по разным аспектам настоящей работы, когда она представлялась на различных семинарах и лекциях в стране и за рубежом.

Джеймс Томсон, президент корпорации RAND, был столь любезен, что предоставил мне кабинет на время работы над книгой. Гэри и Линда Армстронг оторвали время от написания собственных диссертаций и помогли мне собирать материал, а также дали множество ценных советов по темам книги в процессе написания. Розали Фonoroff помогла вычитать рукопись. Вместо стандартных благодарностей машинистке я должен, наверное, выразить признательность разработчикам микропроцессора Intel 80386.

И последнее, но самое важное: это моя жена, Лаура, вдохновила меня написание исходной статьи и этой книги, это она все время была рядом со мной при всех критиках и возражениях. Она была внимательным читателем рукописи, и невозможно перечислить все ее вклады в окончательную форму и содержание книги. Моя дочь Джулия и сын Дэвид, который решил родиться в процессе написания книги, тоже мне помогли – просто тем, что они есть на свете.

Вместо предисловия

Дальние истоки данной книги лежат в статье, названной «Конец истории?», которую я написал в 1989 году для журнала «Национальный интерес»¹. В ней я утверждал, что последние годы во всем мире возник небывалый консенсус на тему о легитимности либеральной демократии как системы правления, и этот консенсус усиливался по мере того, как терпели поражение соперничающие идеологии: наследственная монархия, фашизм и последним – коммунизм. Более того, я настаивал, что либеральная демократия может представлять собой «конечный пункт идеологической эволюции человечества» и «окончательную форму правления в человеческом обществе», являясь тем самым «концом истории». Это значит, что в то время как более ранние формы правления характеризовались неисправимыми дефектами и иррациональностями, в конце концов приводившими к их крушению, либеральная демократия, как утверждается, лишена таких фундаментальных внутренних противоречий. Это утверждение не означает, что стабильные демократии, такие как США, Франция или Швейцария, лишены несправедливостей или серьезных социальных проблем. Но эти проблемы связаны с неполной реализацией принципов-близнецов: свободы и равенства, а не с дефектами самих принципов. Хотя какие-то современные страны могут потерпеть неудачу в попытке достичь стабильной либеральной демократии, а другие могут вернуться к иным, более примитивным формам правления, вроде теократии или военной диктатуры, но *идеал* либеральной демократии улучшить нельзя.

Опубликованная статья вызвала необычайно большой поток комментариев и возражений, сначала в Соединенных Штатах, потом в таких различных странах, как Англия, Франция, Италия, Советский Союз, Бразилия, Южная Африка, Япония и Южная Корея. Критика звучала в любой возможной форме; некоторые возражения были связаны просто с непониманием моего изначального намерения, авторы других сильнее вникали в мои доводы². Многих в первую очередь смущал смысл, который я вкладывал в слово «история». Понимая историю в обычном смысле, как последовательность событий, мои критики указывали на падение Берлинской стены, на подавление китайскими коммунистами волнений на площади Тяньаньмэнь и на вторжение Ирака в Кувейт как на свидетельства, что «история продолжается», тем самым доказывая мою неправоту.

Но то, что, по моему предположению, подошло к концу, – это не последовательность событий, даже событий серьезных и великих, а История с большой буквы – то есть история, понимаемая как единый, логически последовательный эволюционный процесс, рассматриваемый с учетом опыта всех времен и народов. Такое понимание Истории более всего ассоциируется с великим немецким философом Гегелем. Его сделал обыденным элементом интеллектуальной атмосферы Карл Маркс, свою концепцию Истории заимствовавший у Гегеля; оно неявно принимается нами при употреблении таких слов, как «примитивное» или «развитое», «традиционное» или «современное», в применении к различным видам человеческого общества. Для обоих этих мыслителей существовал логически последовательный процесс развития человеческого общества – от примитивного племенного уклада, основанного на рабстве и жизнеобеспечивающем земледелии, к различным теократиям, монархиям и феодальным аристократиям, к современной либеральной демократии и к капитализму, основанному на современных технологиях. Этот эволюционный процесс не является ни случайным, ни непостижимым,

¹ «The End of History?» *The National Interest* 16 (Summer 1989 г.), стр. 3–18.

² Первые попытки ответить на некоторые из этих критических замечаний см. мою статью «Reply to My Critics», *The National Interest* 18 (Winter 1989–1990), стр. 21–22.

даже если развивается он не по прямой и даже если усомниться, что человек становится счастливее или лучше в результате исторического «прогресса».

И Гегель, и Маркс верили, что эволюция человеческих обществ не бесконечна; она останавливается, когда человечество достигнет той формы общественного устройства, которая удовлетворяет его самые глубокие и фундаментальные чаяния. Таким образом, оба эти мыслителя постулировали «конец истории»: для Гегеля это было либеральное государство, для Маркса – коммунистическое общество. Это не означало, что остановится естественный цикл рождения, жизни и смерти, что больше не будут происходить важные события или что не будут выходить сообщающие о них газеты. Это означало, что более не будет прогресса в развитии принципов и институтов общественного устройства, поскольку все главные вопросы будут решены.

Настоящая книга не есть повторение моей статьи и не является попыткой продолжить дискуссию с ее многочисленными критиками и комментаторами. Менее всего ее целью является разговор о конце «холодной» войны или о любой другой животрепещущей теме современной политики. Хотя данная книга наполнена последними мировыми событиями, тема ее возвращает нас к очень старому вопросу: действительно ли в конце двадцатого столетия имеет смысл опять говорить о логически последовательной и направленной Истории человечества, которая в конечном счете приведет большую часть человечества к либеральной демократии? Ответ, к которому я пришел, утвердительный по двум различным причинам. Одна из них относится к экономике, другая – к тому, что называется «борьбой за признание» (*struggle for recognition*).

Конечно, недостаточно обратиться к авторитету Гегеля, Маркса или любого из их современных последователей, чтобы обосновать направленность Истории. За те полтора столетия, что прошли после написания их работ, их интеллектуальное наследие подвергалось непрерывным атакам со всех сторон. Наиболее углубленные мыслители двадцатого столетия напали на самую мысль о том, что история есть процесс логически последовательный и познаваемый; разумеется, такие мыслители отрицали возможность, что какой бы то ни было аспект человеческой жизни философски познаваем. Мы, жители Запада, выработали у себя глубокий пессимизм относительно возможности общего прогресса демократических институтов. Этот пессимизм не случаен, но порожден поистине страшными политическими событиями первой половины двадцатого века – две разрушительные мировые войны, взлет тоталитарных идеологий и обращение науки против человека в виде ядерного оружия и разрушения окружающей среды. Жизненный опыт жертв политического насилия прошедшего века – от переживших гитлеризм или сталинизм и до жертв Пол Пота – противоречит допущению, что на свете существует исторический прогресс. И конечно же, мы настолько привыкли теперь ожидать от будущего плохих вестей относительно здоровья, безопасности или достойной, либеральной и демократической политической практики, что нам трудно узнать хорошие новости, когда они появляются.

И все же хорошие новости есть. Наиболее замечательным поворотом событий последней четверти века было открытие невероятной слабости в самом ядре с виду сильнейших в мире диктатур, будь они военно-авторитарными правыми или коммунистически-тоталитарными левыми. От Латинской Америки до Восточной Европы, от Советского Союза до Ближнего Востока и Азии сильные правительства в последние двадцать лет терпели крах. И хотя они не всегда уступали место стабильным либеральным демократиям, все же либеральная демократия остается единственным логически последовательным политическим стремлением, и она овладевает различными регионами и культурами во всем мире. Кроме того, распространились либеральные принципы экономики («свободный рынок»), которые сумели создать небывалый уровень материального благосостояния как в промышленно развитых странах, так и в тех, которые по окончании Второй мировой войны входили в нищий третий мир. Либеральная

революция экономического мышления иногда опережала мировое движение к политической свободе, иногда следовала за ним.

Все эти направления развития, столь подверженные риску в страшной истории первой половины столетия, времени победного шествия тоталитарных режимов правых и левых, заставляют снова рассмотреть вопрос, нет ли в их основе какой-то глубокой связующей нити – или они просто случайные примеры удачного развития событий. Поднимая снова вопрос, существует ли на свете Универсальная История человечества, я возобновляю дискуссию, которая возникла в начале девятнадцатого века, но в наше время более или менее затихла из-за огромности событий, произошедших с тех пор с человечеством. Хотя идеи, которые я выдвигаю, были сформулированы такими философами, как Гегель и Кант, ранее занимавшимися теми же вопросами, я надеюсь, что приводимые мною аргументы имеют самостоятельную ценность.

В данном томе довольно нескромно делаются не одна, а *две* отдельные попытки дать контуры такой Универсальной Истории. Определив в части первой, зачем нам снова возвращаться к возможности Универсальной Истории, я во второй части пытаюсь дать начальный ответ, ища в современной науке механизм, или регулятор, объясняющий направленность и логическую последовательность Истории. Современная наука – полезная исходная точка, потому что это единственная важная общественная деятельность, которая одновременно и кумулятивна, и дирекциональна, хотя фактическое воздействие ее на счастье человечества неоднозначно. Прогрессирующее покорение природы, которое стало возможным после выработки научного метода в шестнадцатом и семнадцатом веках, идет по определенным правилам, установленным не человеком, но природой и ее законами.

Развитие современной науки оказало единообразное воздействие на все общества, где оно происходило, и причины этому две. Во-первых, техника обеспечивает определенные военные преимущества стране, которая ею владеет, а учитывая постоянную возможность войны в международных делах, ни одно государство, дорожащее своей независимостью, не может пренебречь необходимостью модернизации обороны. Во-вторых, современная наука создает единообразный простор для роста экономической производительности. Техника открывает возможность неограниченного накопления богатств и тем самым – удовлетворения вечно растущих желаний человека. Этот процесс гарантирует рост однородности всех человеческих обществ, независимо от их исторических корней или культурного наследия. Все страны, подвергшиеся экономической модернизации, должны весьма походить друг на друга: в них должно существовать национальное единение на базе централизованного государства, они урбанизируются, заменяют традиционные формы организации общества вроде племени, секты и клана экономически рациональными формами, основанными на функции и эффективности, и обеспечивают своим гражданам универсальное образование. Растет взаимосвязь таких обществ через глобальные рынки и распространение универсальной потребительской культуры. Более того, логика современной науки, по-видимому, диктует универсальную эволюцию в сторону капитализма. Опыт Советского Союза, Китая и других социалистических стран указывает, что хотя весьма централизованная экономика была достаточна для достижения уровня индустриализации, существовавшего в Европе пятидесятых годов, она разительно неадекватна для создания того, что называется сложной «постиндустриальной» экономикой, в которой куда большую роль играют информация и технические новшества.

Но в то время как исторический механизм, представляемый современной наукой, достаточен для объяснения многих исторических перемен и растущего единообразия современных обществ, он недостаточен для объяснения феномена демократии. То, что наиболее развитые страны мира являются также наиболее успешными демократиями, – общеизвестный факт. Но хотя современная наука и приводит нас к воротам Земли Обетованной либеральной демократии, в саму эту Землю она нас не вводит, поскольку нет никакой экономически необходимой при-

чины, чтобы развитая промышленность порождала политическую свободу. Стабильная демократия возникала иногда и в доиндустриальных обществах, как было в Соединенных Штатах в 1776 году. С другой стороны, есть много исторических и современных примеров технологически развитого капитализма, сосуществующего с политическим авторитаризмом, – от Японии Мэйдзи и Германии Бисмарка до современных Сингапура и Таиланда. Зачастую авторитарные государства способны давать темпы экономического роста, не достижимые в обществах демократических.

Таким образом, наша первая попытка найти основу направленности истории имеет лишь частичный успех. То, что мы назвали «логикой современной науки», является, в сущности, экономической интерпретацией исторических изменений, но такой, которая (в отличие от марксистской версии) приводит в результате к капитализму, а не к социализму. Логика современной науки может многое объяснить в нашем мире: почему мы, жители развитых демократий, работаем в офисах, а не крестьянствуем, кормясь от земли, почему являемся членами профессиональных объединений, а не племен или кланов, почему мы повинемся власти чиновника, а не жреца, почему мы грамотны и говорим на языке, общем для нашего государства.

Но экономическая трактовка истории неполна и неудовлетворительна, потому что человек не является просто экономическим животным. В частности, эта трактовка бессильна объяснить, почему мы – демократы, то есть приверженцы принципа народного суверенитета и гарантий основных прав под управлением закона. По этой причине в части третьей этой книги мы обращаемся ко второму, параллельному аспекту исторического процесса, в котором учитывается человек в целом, а не только его экономическая ипостась. Для этой цели мы вернемся к Гегелю и его нематериалистическому взгляду на Историю, основанному на борьбе за признание.

Согласно Гегелю, люди, как животные, имеют естественные потребности и желания, направленные вовне, такие как еда, питье, жилье, а главное – самосохранение. Но человек фундаментально отличается от животных тем, что помимо этого он желает желаний других людей, то есть он желает быть «признан». В частности, он желает, чтобы его признавали *человеком*, то есть существом, имеющим определенное достоинство. Это достоинство прежде всего относится к его готовности рискнуть жизнью в борьбе всего лишь за престиж. Ибо только человек способен преодолеть свои самые глубинные животные инстинкты – главный среди которых инстинкт самосохранения – ради высших, абстрактных принципов и целей. Согласно Гегелю, дракой двух первобытных бойцов изначально движет жажда признания, желание, чтобы другие «признали» их людьми за то, что они рискуют жизнью в смертной схватке. Когда природный страх смерти заставляет одного из сражающихся покориться, возникают отношения хозяина и раба. Ставка в этой кровавой битве на заре истории – не еда, не жилье и не безопасность, а престиж в чистом виде. И в том, что цель битвы определена не биологией, Гегель видит первый проблеск человеческой свободы.

Жажда признания может поначалу показаться понятием незнакомым, но оно так же старо, как традиция западной политической философии, и является вполне известной стороной человеческой личности. Впервые она была описана в «Республике» Платона, когда он заметил, что у души есть три части: желающая часть, разумная часть и та часть, которую он назвал «тимос», или «духовность». Большая часть поведения человека может быть описана комбинацией первых двух составляющих, желания и рассудка: желание подвигает людей искать нечто вне себя самих, рассудок подсказывает лучшие способы это осуществить. Но кроме того, люди ищут признания своих достоинств или тех людей, предметов или принципов, в которые они эти достоинства вложили. Склонность вкладывать себя как некую ценность и требовать признания этой ценности мы на современном популярном языке назвали бы «самооценкой». Склонность ощущать самооценку исходит из той части души, которая называется «тимос». Эта склонность

похожа на врожденное человеческое чувство справедливости. Люди считают, что они имеют определенную ценность, и когда с ними обращаются так, будто эта ценность меньше, чем они думают, они испытывают эмоцию, называемую *гнев*. Наоборот, когда человек не оправдывает представления о своей ценности, он испытывает *стыд*, а когда человека ценят согласно его самооценке, он испытывает *гордость*. Жажда признания и сопутствующие ей эмоции гнева, стыда и гордости – это важнейшие для политической жизни характеристики. Согласно Гегелю, именно они и движут исторический процесс.

По Гегелю, желание человека получить признание своего достоинства с самого начала истории вело его в кровавые смертельные битвы за престиж. В результате этих битв человеческое общество разделилось на класс господ, готовых рисковать своей жизнью, и класс рабов, которые уступали естественному страху смерти. Но отношения господства и рабства, принимавшие различные формы во всех обществах, основанных на неравенстве, во всех аристократических обществах, которыми характеризуется большая часть истории, абсолютно не могли удовлетворить жажду признания ни у господ, ни у рабов. Разумеется, раб вообще не признавался человеком ни в каком смысле. Но столь же ущербным было и признание, которым пользовался господин, потому что его признавали не другие господа, но рабы, которые не были вполне людьми. Неудовлетворенность этим недостаточным признанием, присущая аристократическим обществам, составляла «противоречие», являющееся движущей силой перехода к дальнейшим этапам.

Гегель считал, что это противоречие, неотъемлемое от отношений господства и подчинения, было преодолено в результате Французской революции и (следовало бы добавить) Американской революции. Эти демократические революции сняли различие между хозяином и рабом, сделали рабов хозяевами самих себя и установили принципы суверенитета народа и главенства закона. Внутренне неравные признания хозяев и рабов заменены признанием универсальным и взаимным, где за каждым гражданином признается человеческое достоинство всеми другими гражданами и где это достоинство признается и государством путем предоставления *прав*.

Гегелевская трактовка значения современной либеральной демократии значительно отличается от англосаксонской трактовки, которая послужила теоретической базой либерализма в таких странах, как Великобритания и Соединенные Штаты. В этой традиции движимое гордостью соискание признания должно быть подчинено просвещенному эгоизму (сочетание желания с разумом) и, в частности, желанию самосохранения. В то время как Гоббс, Локк и американские отцы-основатели, в частности Джефферсон и Мэдисон, считали, что права в достаточно большой степени существуют как гарантии сохранения сферы частной жизни, где человек может обогащаться и удовлетворять желания своей души³, Гегель в правах видел нечто самодостаточное, поскольку воистину удовлетворяют человека не материальные ценности, а признание его положения и достоинства. После Американской и Французской революций Гегель утверждал, что история подходит к концу, потому что желание, питавшее политический процесс – борьба за признание, – теперь в обществе, характеризуемом универсальным и взаимным признанием, удовлетворено. Никакая другая организация социальных институтов не в состоянии это желание удовлетворить, и, следовательно, никакие дальнейшие исторические изменения невозможны.

Таким образом, борьба за признание может дать нам недостающее звено между либеральной экономикой и либеральной политикой, которое отсутствует в экономических рассуждениях части второй. Желание и рассудок вместе – этого достаточно, чтобы объяснить процесс индустриализации и вообще значительную часть экономической жизни. Но они никак

³ Локк и особенно Мэдисон не понимали, что одной из целей республиканского правления является защита гордого самоуверждения граждан республики.

не объясняют стремление к либеральной демократии, которая полностью порождается «тимосом», той частью души, которая требует признания. Общественные изменения, сопровождающие развитую индустриализацию, в частности универсальное образование, очевидно, освобождают некоторую потребность в признании, которая отсутствует у людей бедных и менее образованных. По мере роста стандартов жизни, когда население станет более космополитичным и лучше образованным, когда общество в целом достигнет большего равенства условий, люди начнут требовать не просто больше богатств, но и признания. Если бы в людях не было ничего, кроме желаний и рассудка, их бы вполне устраивала жизнь в таких рыночно ориентированных автократиях, как франкистская Испания, Южная Корея или Бразилия под властью военных. Но есть еще диктуемая «тимосом» гордость собственной ценностью, и она заставляет людей требовать демократического правительства, которое будет обращаться с ними, как со взрослыми, а не как с детьми, признавая их самостоятельность как свободных личностей. Коммунизм в наше время проигрывает либеральной демократии, поскольку он создает весьма ущербную форму признания.

Понимание важности борьбы за признание как двигателя истории позволяет по-новому взглянуть на многие явления, знакомые нам в других аспектах, такие как культура, религия, работа, национализм и война. В части четвертой делается попытка развить такой взгляд и прогнозировать некоторые способы, которыми будет проявляться в будущем жажда признания. Например, человек религиозный ищет признания своих богов или священных обрядов, а националист требует признания его конкретной лингвистической, культурной или этнической группы. Обе эти формы признания менее рациональны, чем универсальное признание либерального государства, поскольку строятся они на произвольных различиях между священным и мирским или между социальными группами людей. По этой причине религия, национализм и комплекс этических привычек и обычаев (более общее название – «культура») традиционно считались препятствием на пути установления политических институтов демократии и экономики свободного рынка.

Но истина существенно сложнее, потому что зачастую успех либеральной политики и либеральной экономики строится на иррациональных формах признания, которые либерализм вроде бы должен преодолевать. Чтобы демократия была действенной, у людей должна вырабатываться иррациональная гордость за свои демократические институты и развиваться то, что Токвиль называл «искусством объединения», а оно базируется на гордой верности небольшим общинам. В основе этих общин часто лежит религия, этническая принадлежность или другая форма признания, резко отличающаяся от универсального признания, на котором основано либеральное государство. То же верно и для либеральной экономики. Труд в западной либеральной экономической традиции понимается как неприятная по сути своей деятельность, предпринимаемая ради удовлетворения потребностей человека или облегчения его страданий. Но в некоторых культурах с сильной этикой труда, такой как у протестантских предпринимателей, создавших европейский капитализм, или у той элиты, которая модернизировала Японию после реставрации Мэйдзи, работа совершается также ради признания. До нынешних времен трудовую этику в некоторых странах Азии поддерживают не столько материальные интересы, сколько признание, которое дает работа в тех перекрывающихся социальных группах – от семьи до страны, – которые составляют общество. Это наводит на мысль, что либеральная экономика преуспевает не только на основе либеральных принципов, но требует еще и иррациональных проявлений «тимоса».

Борьба за признание дает нам возможность заглянуть внутрь международной политики. Жажда признания, приводившая когда-то к кровавым поединкам между бойцами, логически ведет к империализму и созданию мировой империи. Отношения господина и раба внутри одной страны зеркально повторяются на уровне государств, когда одна нация как целое требует признания и ведет кровавый бой за верховенство. Национализм, эта современная, но не

до конца рациональная форма признания, был двигателем борьбы за признание последние сто лет и источником наиболее яростных конфликтов двадцатого столетия. Это мир «политики с позиции силы», описанный такими «реалистами» от внешней политики, как Генри Киссинджер.

Но если в основе ведения войны лежит жажда признания, то разумно было бы поверить, что либеральная революция, рвущая отношения рабов и господ и делающая рабов хозяевами самих себя, должна так же действовать и в отношениях между государствами. Либеральная демократия заменяет иррациональное желание быть признанным выше других рациональным желанием быть признанным равным другим. Таким образом, мир, построенный из либеральных демократий, должен быть куда меньше подвержен войнам, поскольку все государства взаимно признают легитимность друг друга. И, разумеется, за пару последних столетий накопился достаточный опыт, показывающий, что либеральные демократии не проявляют империалистического поведения по отношению друг к другу, хотя они вполне способны вести войну с государствами, которые демократиями не являются и не разделяют фундаментальных ценностей демократии. Национализм сейчас на подъеме в таких регионах, как Восточная Европа и Советский Союз, где народам долгое время отказывали в признании их национальной идентичности, но и в самых старых и надежных национальных государствах мира национализм претерпевает изменения. Требование национального признания в Западной Европе одомашнено и согласуется с универсальным признанием, как тремя или четырьмя веками раньше согласовывалась с ним религия.

Пятая и последняя часть книги посвящена вопросам «конца истории» и тому созданию, которое в этом конце возникает, – «последнему человеку». В ходе споров, вызванных статьёй в «Национальном интересе», многие приняли допущение, что стержнем вопроса о конце истории является такой вопрос: видны ли в сегодняшнем мире жизнеспособные альтернативы либеральной демократии? Было много возражений по многим вопросам: действительно ли умер коммунизм, может ли вернуться религиозный фанатизм или ультранационализм, и тому подобным. Но более серьезный и глубокий вопрос – это добротность самой либеральной демократии, а не то, устоит ли она против своих сегодняшних соперников. Приняв, что в данный момент либеральной демократии внешние враги не угрожают, можем ли мы принять допущение, что демократические общества останутся такими бесконечно? Или либеральная демократия падет жертвой собственных внутренних противоречий, настолько серьезных, что они подорвут в конце концов ее как политическую систему? Ведь несомненно, что современные демократии сталкиваются с массой проблем: от наркотиков, бездомности и преступности до экологических катастроф и бездумного консюмеризма. Однако эти проблемы не являются очевидно не разрешимыми на основе либеральных принципов и не настолько серьезны, что обязательно приведут к краху общества как целого – такому краху, как потерпел коммунизм в конце восьмидесятых.

Писавший в двадцатом столетии великий интерпретатор Гегеля Александр Кожев (Kojève) решительно заявлял, что история закончилась, поскольку то, что он называл «универсальное и однородное государство», а мы понимаем как либеральную демократию, определенно разрешило вопрос о признании путем замены отношений господина и раба универсальным и равным признанием. То, что искал на протяжении всей истории человек, то, что двигало ранее шагами истории, – это признание. В современном мире он его наконец нашел и «полностью удовлетворен». Это заявление Кожев сделал серьезно, и оно заслуживает, чтобы мы его тоже приняли всерьез. Потому что *главной* задачей политики за все тысячелетия людской истории можно считать попытки решить проблему признания. Признание – центральная проблема политики, потому что жажда признания является истоком тирании, империализма и стремления к господству. Но, несмотря на эту темную сторону, жажду признания нельзя просто выбросить из политической жизни, потому что одновременно она есть психологический

фундамент таких политических добродетелей, как храбрость, дух гражданственности и справедливость. Любая политическая группа не может не использовать жажду признания, в то же самое время защищая себя от ее деструктивных последствий. В современном конституционном правительстве найдена формула, в которой все признаны, и тем не менее предотвращено возникновение тирании, и такой режим должен получить специальное отличие за стабильность и долговечность среди всех возникавших на земле режимов.

Но является ли признание, доступное жителям современных либеральных демократий, «полностью удовлетворительным»? Отдаленное будущее либеральных демократий и альтернатив, которые могут возникнуть когда-нибудь, зависит прежде всего от ответа на этот вопрос. В части пятой мы дадим набросок двух главных ответов, слева направо соответственно. Левые скажут, что универсальное признание в либеральных демократиях по необходимости неполно, поскольку капитализм создает экономическое неравенство и требует разделения труда, которое *ipso facto*⁴ влечет за собой неравное признание. В этом отношении даже абсолютное процветание нации не дает решения, потому что всегда будут существовать люди относительно бедные, в которых сограждане не будут видеть людей. Иными словами, либеральная демократия продолжает признавать равных людей неравным образом.

Второе и, на мой взгляд, более существенное критическое замечание об универсальном признании исходит от правых, глубоко обеспокоенных нивелирующим эффектом, созданным приверженностью Французской революции к равенству. Наиболее блестящим выразителем взглядов правых в философии был Фридрих Ницше, чьи взгляды в некоторых отношениях предвосхитил великий наблюдатель демократических обществ Алексис де Токвиль. Ницше считал, что современная демократия есть не освобождение бывших рабов, а безоговорочная победа раба и рабского духа. Типичным гражданином либеральной демократии является «последний человек», который, будучи вышколен основателями современного либерализма, оставил гордую веру в собственное превосходящее достоинство ради комфортабельного самосохранения. Либеральная демократия порождает «людей без груди», состоящих из желаний и рассудка, но не имеющих «тимоса», умело находящих новые способы удовлетворять сонмы мелких желаний путем расчета долговременной выгоды для себя. Последний человек не имеет желания быть признанным более великим, чем другие, а без такого желания невозможны достижения. Довольный своим счастьем, неспособный ощутить какой бы то ни было стыд за неумение подняться над своими желаниями, последний человек перестает быть человеком.

Следуя мыслям Ницше, мы вынуждены задать следующий вопрос: разве человек, который полностью удовлетворен всего лишь универсальным и равным признанием, не является чем-то меньшим, чем человек, – объектом презрения, «последним человеком» без стремления и вдохновения? Разве не заложено в человеческой личности некоторое сознательное стремление к борьбе, опасности, риску и дерзновению, и разве не останется эта сторона не реализованной в «мире и процветании» современной либеральной демократии? Разве для некоторых людей удовлетворенность не требует признания по самой сути своей неравного? И разве не составляет жажда неравного признания основу живой жизни не только в былых аристократических сообществах, но и в современных либеральных демократиях? Не будет ли само выживание этих демократий в некоторой степени зависеть от того, насколько их граждане стремятся быть признанными не равными другим, а выше других? И не может ли этот страх превращения в презренного «последнего человека» повести людей по новым, непредвиденным путям, пусть даже эти пути приведут туда, где снова человек станет бестиальным «первым человеком», ведущим кровавые битвы за престиж, только теперь – современным оружием?

К этим вопросам и обращается лежащая перед вами книга. Вопросы эти возникают естественно, как только мы спросим себя, существует ли прогресс, можем ли мы построить логиче-

⁴ в силу самого факта (*лат.*).

ски последовательную и имеющую направление Универсальную Историю Человечества. Тоталитаризм правого и левого толка почти весь двадцатый век слишком сильно нас отвлекал, чтобы мы могли изучить этот вопрос внимательно. Но падение тоталитаризма к концу столетия приглашает нас еще раз поднять этот старый вопрос.

Часть первая

Снова заданный старый вопрос

Глава 1

Наш пессимизм

Столь достойный и трезвый мыслитель, как Иммануил Кант, мог еще серьезно верить, что война служит целям Провидения. После Хиросимы любая война считается в лучшем случае необходимым злом. Такой святой, как Фома Аквинский, мог со всей серьезностью утверждать, что тираны служат провиденциальным целям, потому что если бы не было тиранов, не было бы возможности для мученичества. После Освенцима любой, кто приведет подобный аргумент, был бы повинен в кощунстве... После этих страшных событий, случившихся в самом сердце нашего современного, просвещенного, технологичного мира, можно ли больше верить в Бога, который есть необходимый Прогресс, чем в того Бога, который проявляет Мощь Свою в виде всенадзирающего Провидения?
Эмиль Факенхейм, «Присутствие Бога в Истории»⁵

Двадцатое столетие – теперь уже можно говорить о нем в прошедшем времени – превратило нас в глубоких исторических пессимистов.

Конечно, мы можем быть оптимистами в том, что касается наших личных дел, здоровья и счастья. По давней традиции, американцы как народ славятся тем, что смотрят в будущее с надеждой. Но если коснуться вопросов более масштабных, например, существовал ли когда-нибудь или будет существовать прогресс в истории, вердикт будет совсем иным. Самые трезвые и глубокомысленные умы столетия не видели причины считать, что мир движется к тому, что мы, люди Запада, считаем достойным и гуманным политическим институтом, – то есть к либеральной демократии. Самые серьезные наши мыслители заключили, что не существует такого понятия, как История, – то есть осмысленного порядка в широком потоке событий, касающихся человечества. Наш собственный опыт, по всей видимости, учит нас, что в будущем нас ждут новые и пока еще не представимые ужасы, от фантастических диктатур и кровавых геноцидов до банализации жизни из-за современного консюмеризма, и беспрецедентные катастрофы – от ядерной зимы до глобального потепления. По крайней мере вероятность появления этих ужасов больше, чем их не появления.

Пессимизм двадцатого столетия составляет резкий контраст с оптимизмом предыдущего. Хотя девятнадцатый век Европы начинался в судорогах войн и революций, в основном это было столетие мира и беспрецедентного роста материального благосостояния. Для оптимизма были две крепкие основы. Первая – вера, что современная наука улучшит людям жизнь, победив бедность и болезни. Природа, давний противник человека, будет покорена современной технологией и поставлена на службу счастью людей. Вторая – что свободное демократическое правление будет распространяться, захватывая одну страну за другой. «Дух 1776 года», или идеалы Французской революции, сокрушит тиранов, автократов и суеверных попов. Слепое повиновение власти будет заменено разумным самоуправлением, в котором все люди, рав-

⁵ Emile Fackenheim, *God's Presence in History: Jewish Affirmations and Philosophical Reflections* (New York: New York University Press, 1970), pp. 5–6.

ные и свободные, будут подчиняться не хозяевам, а себе самим. В свете широкого наступления цивилизации даже кровавые войны вроде наполеоновских могли интерпретироваться философами как социально прогрессивные по своим результатам, поскольку они породили распространение республиканской формы правления. Множество теорий, серьезных и не слишком, выдвигались для объяснения того, каким образом история человечества составляет логическое целое и почему отклонения и повороты ее могут быть поняты как шаги к добру современной эры. В 1880 году некто Роберт Макензи мог написать такое:

«История человечества – это летопись прогресса, летопись накопления знания и роста мудрости, постоянное движение от низшего уровня разума и процветания к высшему. Каждое поколение передает следующему унаследованные им сокровища, измененные к лучшему его собственным опытом, обогащенные плодами всех одержанных им побед... Рост благосостояния человека, избавленный от прихоти своевластных принцев, подлежит теперь благому управлению великих законов Провидения»⁶.

В знаменитом одиннадцатом издании Британской энциклопедии, вышедшем в 1910–1911 годах, в статье «Пытки» было сказано следующее: «В том, что касается Европы, вопрос представляет только исторический интерес»⁷. В самый канун Первой мировой войны журналист Норман Энджелл выпустил книгу «Великая иллюзия: изучение отношения между военной мощью и национальной выгодой», в которой утверждал, что свобода торговли сделала территориальные приобретения ненужными и что война стала экономически нецелесообразной⁸.

Своим крайним пессимизмом наше столетие по крайней мере частично обязано той жестокости, с которой реальность разбила эти ранние ожидания. Первая мировая война явилась решающим событием, подорвавшим самоуспокоенность Европы. Конечно, война свергла старый политический порядок, который представляли монархии Германии, Австрии и России, но куда сильнее был ее психологический эффект. Четыре года невероятных ужасов окопной войны, когда десятки тысяч людей в день погибали на нескольких ярдах опустошенной земли, явились, по словам Пола Фуссела, «мерзкой подножкой превалирующему мелиористическому мифу, который более ста лет владел общественным сознанием», извратив «саму идею прогресса»⁹. Добродетели верности, трудолюбия, бережливости и патриотизма приводили людей на систематическую и бессмысленную бойню для истребления других людей, тем самым дискредитируя весь буржуазный мир, создавший эти ценности¹⁰. Как объясняет Пауль, молодой герой романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»: «Они [учителя] должны были бы помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим... Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах». Ему вторит молодой американец, который во время Вьетнамской войны пришел к выводу, что «нашему поколению верить следует больше, чем их поколению»¹¹. И осознание, что индустриальный прогресс Европы мог быть обращен на службу войне без морального искупления или морального смысла, привело к резкому отвержению всех попыток найти в истории систему или смысл. Так, известный британский историк Х.А.Л. Фишер мог в 1934 году написать: «Люди более мудрые, чем я, и более образован-

⁶ Robert Mackenzie, *The Nineteenth Century – A History*, цитата приводится у Коллингвуда (R.G. Collingwood), *The Idea of History* (New York: Oxford University Press, 1956), p. 140.

⁷ Encyclopaedia Britannica, 11th edition (London, 1911), vol. 27, p. 72.

⁸ Norman Angell, *The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power to National Advantage* (London: Heinemann, 1914).

⁹ Paul Fussel, *The Great War and Modern Memory* (New York: Oxford University Press, 1956).

¹⁰ Эту мысль высказал Modris Eksteins, *Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age* (Boston: Houghton Mifflin, 1989, pp. 176–191); см. также Fussel (1975), pp. 19–20.

¹¹ Эрих Мария Ремарк, Лениздат, 1959, стр. 19.

ные различали в истории сюжет, ритм, заранее задуманную систему. Эти гармонии от меня скрыты. Я вижу только поток бедствий, следующих одно за другим, как волны»¹².

Как потом оказалось, Первая мировая война была только предисловием к новым видам зла, которым предстояло вскоре возникнуть. Если современная наука открыла возможность создавать оружие беспрецедентной разрушительной силы, такое как пулемет и бомбардировщик, то современная политика создала государство беспрецедентной власти, для которого придумано было и новое слово – *тоталитаризм*. Опираясь на действенные полицейские силы, массовые политические партии и радикальные идеологии, стремившиеся взять под контроль все аспекты человеческой жизни, эти государства нового типа рвались к осуществлению проектов колоссального честолюбия – их не устраивало ничего меньше мирового господства. Акты геноцида, осуществленные тоталитарными режимами гитлеровской Германии и сталинской России, не имели прецедентов в мировой истории, и во многих отношениях лишь современность дала им возможность осуществиться¹³. Конечно, бывали кровавые тирании и до двадцатого столетия, но Гитлер и Сталин поставили на службу злу современную технику и современную политическую организацию. У «традиционных» тиранов не было технической возможности планировать уничтожение целого *класса* людей, как евреев в Европе или кулаков в Советском Союзе. Эту работу сделали возможной лишь технический прогресс и общественные движения предыдущего столетия. Войны, развязанные этими тоталитарными государствами, также были войнами нового типа, с массовым уничтожением гражданского населения и экономических ресурсов – отсюда и термин «тотальная война». Чтобы защититься от этой угрозы, либеральным демократиям пришлось применить такие военные методы, как бомбежка Дрездена или Хиросимы, которые в более ранние времена были бы названы массовым убийством.

В девятнадцатом веке теории прогресса связывали человеческое зло с отсталостью. Но пусть сталинизм возник в отсталой, полувосточной стране, известной своим деспотическим режимом, – зато Холокост произошел в стране с отлично развитой промышленной экономикой и одним из самых культурных и образованных народов в мире. Если такое могло произойти в Германии, почему оно не может случиться в любой другой развитой стране? А если экономическое развитие, образование и культура не дают гарантии от такого явления, как нацизм, то в чем же смысл исторического прогресса?¹⁴

Опыт двадцатого столетия поставил под большой вопрос заявления о прогрессе на основе науки и техники, поскольку способность технического прогресса улучшать людям жизнь неотделима от параллельного морального прогресса человека. Без этого мощь техники просто будет обращена на цели зла, и человечество станет *хуже*, чем было прежде. Тотальные войны двадцатого века не были бы возможны, если бы не основные достижения Промышленной революции: железо, сталь, двигатель внутреннего сгорания, самолет. А со времен Хиросимы человечество живет под тенью самого страшного научного достижения в истории: ядерного оружия. У фантастического роста экономики, возможность которого создала современная наука, есть и обратная сторона, поскольку этот рост привел к серьезным повреждениям окружающей среды во многих частях света и создал вероятность глобальной экологической катастрофы. Часто утверждают, что глобальная информационная технология и немедленная связь способствуют распространению демократических идеалов, как было в случае освещения CNN на весь мир событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году или последующих революций в Восточ-

¹² Цитируется у Экштейна (Ekstein 1989), стр. 291.

¹³ Это замечание принадлежит Жан-Франсуа Ревелю (Jean-Francois Revel), «But We Follow The Worse...» *The National Interest* (Winter 1989–1990): 99–103.

¹⁴ См. ответ Гертруды Гиммельфарб (Gertrude Himmelfarb) на исходную статью «The End of History?», *The National Interest* (Summer 1989): 25–26. См. также статью Лешека Колаковского (Leszek Kolakowsky) «Uncertainties of a Democratic Age», *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990): 47–50.

ной Европе в том же году. Но сама по себе технология связи нейтральна. Реакционные идеи аятоллы Хомейни были ввезены в Иран до революции 1978 года на магнитофонных кассетах, а сами магнитофоны стали доступны населению в результате экономической модернизации, предпринятой шахом. Если бы в тридцатых годах существовали телевидение и спутниковая связь, они бы отлично послужили таким пропагандистам нацизма, как Лени Рифеншталь и Йозеф Геббельс.

Болезненные события двадцатого века послужили фоном и для глубокого кризиса мысли. Говорить об историческом прогрессе возможно, только если говорящий знает, куда идет человечество. Большинство европейцев девятнадцатого века думали, что прогресс – это движение в сторону демократии. Но в нашем столетии по этому вопросу уже нет консенсуса. Либеральной демократии бросили вызов два главных соперника – фашизм и коммунизм, – предложивших радикально отличные взгляды на хорошее общественное устройство. Люди Запада тоже задумались, действительно ли либеральная демократия является великим чаянием всего человечества и не была ли вера в это проявлением узкого этноцентризма. Когда европейцы вынуждены были иметь дело с неевропейским миром, сначала как колонизаторы, потом как покровители во время «холодной» войны и (теоретически) равноправные партнеры в мире суверенных национальных государств, они стали задаваться вопросом об универсальности собственных идей. Суицидальное саморазрушение в двух мировых войнах вскрыло ложность идеи о превалирующей рациональности Запада; различие между варварским и цивилизованным, столь очевидное для европейцев девятнадцатого столетия, стало куда труднее определить после нацистских лагерей смерти. Вместо единого направления движения истории вдруг открылось столько направлений, сколько есть на Земле народов или цивилизаций, и у либеральной демократии среди этих направлений привилегий не оказалось.

В наше время одним из самых явных проявлений пессимизма была почти поголовная вера в то, что жизнеспособная коммунистически тоталитарная альтернатива западной либеральной демократии будет существовать вечно. В семидесятых годах Генри Киссинджер, бывший тогда государственным секретарем, предупреждал своих сограждан: «Сегодня, впервые в нашей истории, мы смотрим в глаза суровой реальности: этот [коммунистический] вызов *не исчезнет*... Мы должны научиться вести внешнюю политику так, как приходилось вести ее другим государствам много веков: без уклонения и без передышки... *Эти условия не переменятся*»¹⁵. Согласно Киссинджеру, утопией было бы пытаться реформировать фундаментальные политические и общественные структуры враждебных держав вроде СССР. Политическая зрелость означает умение принимать мир таким, каков он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть, а это значит, что надо уживаться с брежневским Советским Союзом. И хотя конфликт между коммунизмом и демократией можно приглушить, ни его, ни вероятность апокалиптической войны исключить до конца нельзя.

Взгляды Киссинджера никак не были уникальны. Почти любой профессионал в области изучения политики вообще и внешней политики в частности верил в вечность коммунизма, и его падение во всем мире в конце восьмидесятых было почти абсолютно неожиданным. Эта слепота была не только результатом влияния идеологической догмы на «бесстрастный» взгляд на события. Она охватила людей любой политической окраски – левых, правых, центр, журналистов, ученых, политиков и Востока, и Запада¹⁶. Корни этой слепоты уходят куда глубже

¹⁵ Курсив наш. Henry Kissinger, «The Permanent Challenge of Peace: U.S. Policy Toward the Soviet Union» в книге Kissinger, *America Foreign Policy*, third edition (New York: Norton, 1977), p. 302.

¹⁶ В том числе и автора этой книги, который в 1984 году писал, что «среди американских обозревателей, пишущих о Советском Союзе, сложился очень последовательный стиль: преувеличивать проблемы советской системы и недооценивать ее эффективность». Обзор под редакцией Роберта Бернса (Robert Byrnes), *After Brezhnev in The American Spectator* 17, no. 4 (April 1984), p. 35–37.

обыкновенной пристрастности, в необычайный исторический пессимизм, порожденный событиями века.

И даже сравнительно недавно, в 1983 году, Жан-Франсуа Ревель заявлял, что «демократия может в конце концов оказаться всего лишь исторической случайностью, коротким просветом, который закрывается на наших глазах...»¹⁷. Правые, конечно, никогда не верили, что коммунизм приобрел какую бы то ни было легитимность в глазах народов, которые он контролирует, и вполне ясно видели экономические провалы социалистических обществ. Но из правых многие верили, что «провалившиеся общества» вроде Советского Союза нашли все же ключ к власти, изобретая ленинского типа тоталитаризм, при котором небольшая банда чиновников-диктаторов может держать власть с помощью современной организации и технологии и управлять огромными массами практически бесконечно. Тоталитаризм преуспел не просто в запугивании своего населения, он заставил это население поверить в ценности его коммунистических господ. Это одно из отличий, которые Джин Киркпатрик в своей знаменитой статье 1979 года провела между авторитарными режимами правых и радикальным тоталитаризмом левых. Тогда как первые «оставляют в покое существующее распределение богатств, власти и статуса», а также «почитают национальных богов и соблюдают традиционные табу», радикальный тоталитаризм левых старается «взять под контроль общество в целом» и нарушает «интернализированные ценности и обычаи». Тоталитарное государство в отличие от просто авторитарного настолько беспощадно контролирует общество, что в основе своей недоступно переменам или реформам, и потому «история нашего столетия не дает почвы для надежд, что радикальные тоталитарные режимы как-то трансформируются»¹⁸.

Основой этой веры в динамизм тоталитарных стран был глубокий дефицит уверенности в демократии. Этот дефицит уверенности проявился в утверждении Киркпатрик, что немногие из недемократических в данный момент стран третьего мира смогут успешно демократизироваться (возможность демократизации коммунистических режимов даже не рассматривалась), и в точке зрения Ревеля, что сильным и установившимся демократиям Европы и Северной Америки не хватает внутренней убежденности, чтобы защищать себя. Приводя многочисленные экономические, социальные и культурные требования, необходимые для успешной демократизации, Киркпатрик критиковала как типично американское заблуждение мысль о том, что всегда и всюду можно демократизировать любое правительство. Идея, что можно создать центр демократии в третьем мире, – это ловушка и заблуждение; опыт учит нас, что мир делят между собой правые авторитаристы и левые тоталитаристы. Ревель же в гораздо более резкой форме повторил критическую мысль Токвиля, что демократиям очень затруднительно вести серьезную и долговременную внешнюю политику¹⁹. Они стреножены самой своей демократической сутью: разногласиями, сомнением в себе и критическим к себе отношением, которые характеризуют демократические дебаты. Следовательно: «При нынешнем положении вещей относительно мелкие неудобства разъедают, возмущают, расстраивают и парализуют демократии быстрее, чем опустошающий голод и постоянная нищета – коммунистические режимы, где подданные не имеют ни реальных прав, ни средств бороться против неправильных действий режима. Общества, где постоянный критицизм является неотъемлемой чертой, – единственные, где можно жить, но они же и наиболее хрупкие»²⁰.

¹⁷ Жан-Франсуа Ревель (Jean-Francois Revel), *How Democracies Perish* (New York: Harper and Row, 1983), p. 3.

¹⁸ Jeanne Kirkpatrick, «Dictatorships and Double Standards», *Commentary* 68 (November 1979): 34–35.

¹⁹ Хорошую критику Ревеля, написанную до *перестройки и гласности*, см. Stephen Sestanovich, «Anxiety and Ideology», *University of Chicago Law Review* 52, no. 2 (Spring 1985): 3–16.

²⁰ Revel (1983), p. 17. Не вполне ясно, насколько сам Ревель верил своим более резким формулировкам насчет относительной силы и слабости демократии и тоталитаризма. Многие его издевки над провалами демократии могут быть отнесены на счет риторической необходимости пробудить собратьев-демократов от очевидной дремоты и раскрыть им глаза на угрозу советской мощи. Очевидно, если бы он считал демократии столь никчемными, какими он их описывает, незачем было бы писать *How Democracies Perish*.

Левые пришли к тому же заключению иным путем. К восьмидесятым годам большинство «прогрессивных деятелей» Европы и Америки уже не верили, что советский коммунизм – это их будущее, как верили многие их предшественники до самого конца Второй мировой войны. И все же среди левых существовала устойчивая вера в легитимность марксизма-ленинизма *для других*, и оценка этой легитимности росла прямо пропорционально географическому расстоянию и культурным различиям. Таким образом, хотя коммунизм советского образца не обязательно был реальным выбором для Соединенных Штатов или Великобритании, он считался пригодным вариантом для русских с их традицией автократии и централизации, не говоря уже о китайцах, которые, как утверждалось, использовали его для преодоления наследия иностранного господства, отсталости и унижения. То же самое говорилось о Кубе и Никарагуа, бывших жертвах американского империализма, о Вьетнаме, для которого коммунизм рассматривался практически как национальная традиция. Многие из левых разделяли точку зрения, что радикальные социалистические режимы могут легитимизироваться в третьем мире, пусть даже в отсутствие свободных выборов и открытого обсуждения, – проведя земельную реформу, обеспечив бесплатное здравоохранение и повысив уровень грамотности населения. При таких взглядах неудивительно, что мало кто из левых предсказывал революционную нестабильность в советском блоке или в Китае.

Конечно, верования в легитимность и вечность коммунизма принимали порой причудливые формы в дни «холодной» войны, уходящие в прошлое. Один талантливый исследователь Советского Союза отстаивал мнение, что Советский Союз под правлением Брежнева достиг того, что автор назвал «институциональным плюрализмом», и утверждал: «Создается впечатление, что советское руководство подвело Советский Союз чуть ли не ближе к духу плюралистской модели американских социальных наук, чем подошли сами Соединенные Штаты»²¹. Оказывается, советское общество в догорбачевский период не было «инертно и пассивно; оно было обществом участия почти в любом смысле этого слова», и советские граждане «участвовали» в политике в большей пропорции, чем граждане США²². Такой же образ мысли был характерен для некоторых эрудитов по поводу Восточной Европы, где, несмотря на навязанную природу коммунизма, ученые видели неколебимую общественную стабильность. Один специалист в 1987 году утверждал, что, «если бы мы сравнивали сейчас государства Восточной Европы со многими странами мира, например Латинской Америки, – они казались бы олицетворением стабильности», и критиковал традиционное представление о «противостоянии «нелегитимной» партии... враждебному и не верящему ей населению»²³.

В то время как некоторые из этих мнений были просто проекцией в будущее недавнего прошлого, многие из них основывались на суждении, касающемся *легитимности* коммунизма на Востоке. Имеется в виду, что, несмотря на все очевидные проблемы общества, коммунистические правители выработали «общественный договор» со своими народами – до некоторой степени эта точка зрения пародировалась советским анекдотом: «Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят»²⁴. Эти режимы никогда не были ни продуктивными, ни дина-

²¹ Джерри Хоуг (Jerry Hough), *The Soviet Union and Social Science Theory* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977), p. 8. Хоуг продолжает так: «Есть, конечно, ученые, которые предположили бы, что политическое участие в Советском Союзе в чем-то не настоящее... что слово «плюрализм» не может быть употреблено в разумном смысле при описании Советского Союза... такие утверждения я не считаю достойными длительного и серьезного обсуждения».

²² Hough (1977), p. 5. Джерри Хоуг, переписывая классическую работу по советскому коммунизму Merle Fainsod, *How the Soviet Union is Governed*, большой раздел отводит под описание старого брежневского Верховного Совета, который Хоуг защищает как форум, где формулируются и отстаиваются социальные интересы. Эту книгу любопытно перечитывать в свете деятельности Съезда народных депутатов и нового Верховного Совета, созданных Горбачевым после девятнадцатой партконференции в 1988 году, и многих республиканских верховных советов, возникших после 1990 года. См. *How the Soviet Union is Governed* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979), pp. 363–380.

²³ James McAdams, «Crisis in the Soviet Empire: Three Ambiguities in Search of Prediction», *Comparative Politics* 20, no. 1 (October 1987): 107–118.

²⁴ О советском общественном договоре см. Peter Hauslohner, «Gorbachev's Social Contract», *Soviet Economy* 3 (1987), 54–89.

мичными, но говорилось, что они правят в определенной степени с общего согласия, потому что обеспечивают безопасность и стабильность²⁵. Как писал в 1968 году политолог Сэмюэл Хантингтон:

«В Соединенных Штатах, Великобритании и Советском Союзе формы правления различаются, но во всех трех системах правительство правит. Каждая из этих стран представляет собой политическую общность, где подавляющее большинство народа считает свою политическую систему легитимной. В каждой из них граждане и их лидеры одинаково понимают общественные интересы, традиции и принципы, на которых эта политическая общность строится»²⁶.

Сам Хантингтон коммунизму не симпатизировал, но считал, будто факты обязывают нас к выводу, что коммунизм сумел за годы своего существования заслужить до некоторой степени одобрение народа.

Современный пессимизм относительно возможности прогресса в истории был порожден двумя отдельными, но параллельными кризисами: кризисом политики двадцатого столетия и интеллектуальным кризисом западного рационализма. В результате первого десятки миллионов людей погибли, а сотни миллионов были принуждены жить под гнетом нового и более грубого рабства; второй лишил либеральную демократию интеллектуальных ресурсов самозащиты. Эти последствия взаимосвязаны и не могут быть поняты отдельно друг от друга. С одной стороны, недостаток интеллектуального консенсуса придал войнам и революциям двадцатого столетия более идеологический, а потому более экстремальный характер, чем тот, который был бы в противном случае. Русская и Китайская революции, нацистская оккупация во время Второй мировой войны вернули в увеличенном масштабе жестокость религиозных войн шестнадцатого столетия, потому что на кону стояли не только территории и ресурсы, но системы ценностей и образы жизни целых народов. С другой стороны, ожесточенность этих конфликтов с идеологической подоплекой и страшные их результаты оказали уничтожающее действие на самооощение либеральных демократий, чья изоляция в мире тоталитарных и авторитарных режимов породила серьезные сомнения в универсальности либерального понятия права.

И все же вопреки этим серьезным причинам для пессимизма, которые дает нам опыт первой половины двадцатого века, события второй его половины указывают в совсем другом и неожиданном направлении. Входя в девяностые годы, мир в целом не выявил новых проявлений зла, но стал лучше в некоторых различных смыслах. Главным среди сюрпризов, случившихся в недавнем прошлом, был полностью неожиданный крах коммунизма почти по всему миру в конце восьмидесятых. Но такой поворот событий, как бы поразителен он ни был, явился лишь элементом куда более масштабного процесса, развернувшегося после Второй мировой войны. Авторитарные диктатуры всех видов, правые и левые, рушились²⁷. В некоторых случаях они освобождали место процветающим и стабильным либеральным демократиям, в других на место авторитаризма приходила нестабильность или иная форма диктатуры. Но вне зависимости от того, возникала или нет либеральная демократия, авторитаризм всех мастей испытывал во всем мире серьезный кризис. В первую треть двадцатого столетия главной политической новацией явилось создание сильных государств – тоталитарных Германии и России; последние несколько десятилетий показали невероятную слабость в самом ядре сильных государств. И

²⁵ См., например, утверждение Ригби, что коммунистические страны достигли легитимности на основе «целесообразности». «Introduction: Political Legitimacy, Weber and Communist Mono-organizational Systems», сб. под редакцией Rigby and Ferenc Feher, *Political Legitimation in Communist States* (New York: St. Martin Press, 1982).

²⁶ Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), p. 1. См. также заключение в работе Timothy J. Colton, *The Dilemma of Reform in Soviet Union*, расширенное и переработанное издание (New York: Council on Foreign Relations, 1986), pp. 119–122.

²⁷ Общее описание см. Dankwart A. Rustow, «Democracy: A Global Revolution?» *Foreign Affairs* 69, no. 4 (Fall 1990): 75–90.

эта слабость, столь огромная и неожиданная, наводит на мысль, что уроки пессимизма, преподанные историей нашего века, следует переосмыслить с самого начала.

Глава 2

Слабость сильных государств I

Современный кризис авторитаризма начался не с горбачевской перестройки или падения Берлинской стены. Он зародился на полтора десятка лет раньше, с падением нескольких авторитарных режимов правого толка в Южной Европе. В 1974 году режим Каэтано в Португалии был свергнут военным переворотом. После периода нестабильности на грани гражданской войны премьером был в апреле 1976 года избран Мариу Соареш, и с тех пор страна мирно живет под демократическим правлением. Полковники, правившие в Греции с 1967 года, тоже были свергнуты в 1974 году и сменились режимом Караманлиса, выбранного большинством голосов. В 1975 году в Испании умер генерал Франциско Франко, открыв путь к на удивление мирному переходу к демократии двумя годами спустя. И добавим, что в Турции военные взяли власть в сентябре 1980 года для борьбы с захлестывающим обществом терроризмом, но вернули гражданское правление в 1983 году. С тех пор во всех этих странах проводятся регулярные, свободные, многопартийные выборы.

Преображение стран Южной Европы менее чем за десять лет поразительно. Эти страны раньше считались изгоями Европы, обреченными своими религиозными и авторитарными традициями оставаться вне главного русла западноевропейского развития. И все же в восьмидесятых годах каждая из них совершила переход к действенной и стабильной демократии, настолько стабильной, что народы этих стран (за возможным исключением Турции) не могут себе представить иной ситуации.

Аналогичная серия переходов к демократии произошла в восьмидесятых годах в Латинской Америке. Она началась в 1980 году реставрацией в Перу демократически избранного правительства после двадцатилетней военной диктатуры. Война за Фолклендские (Мальвинские) острова привела к падению военной хунты в Аргентине и приходу к власти демократического правительства Альфонсина. Примеру Аргентины последовали другие страны Латинской Америки; военные режимы были свергнуты в Уругвае в 1983 году и в Бразилии в 1984 году. К концу десятилетия диктатуры Стресснера в Парагвае и Пиночета в Чили уступили место всенародно избранным правительствам, а в начале девяностого года сандинистское правительство Никарагуа проиграло на свободных выборах коалиции, возглавляемой Виолеттой Чаморро. Многие наблюдатели были менее уверены в устойчивости латиноамериканских демократий, нежели южноевропейских. В этом регионе демократии и раньше появлялись и исчезали, и почти все вновь возникшие демократии находились в остром экономическом кризисе, главным проявлением которого был кризис долгов. Такие страны, как Перу и Колумбия, имели дело еще и с внутренними проблемами – повстанцами и наркоторговлей. И тем не менее эти новые демократии оказались на удивление устойчивы, будто предыдущий опыт авторитаризма дал им прививку от слишком легкого возврата к военному правлению. Факт тот, что по сравнению с началом семидесятых, когда в Латинской Америке была лишь горстка демократических стран, к началу девяностых единственными странами западного полушария, не допускавшими свободных выборов, оставались только Куба и Гайана.

Аналогичное развитие событий наблюдалось в Восточной Азии. В 1986 году диктатура Маркоса на Филиппинах была свергнута, и к власти пришла президент Корасон Акино, пользующаяся всенародной поддержкой. На следующий год генерал Чун отказался от власти в Южной Корее, и президентом был избран Ро Дэ У. Политическая система Тайваня не подверглась столь резким переменам, но наблюдалось значительное демократическое брожение после смерти Чан Кайши в январе 1988 года. По мере ухода старой гвардии правящей партии Гоминьдан росло участие в Национальном Парламенте других секторов тайваньского общества, в том числе мно-

гих урожденных тайваньцев. И наконец, авторитарное правительство Бирмы тоже закачалось под воздействием демократического брожения.

В феврале 1990 года африкандерское правительство де Клерка в Южной Африке объявило об освобождении Нельсона Манделы и отмене запрета Африканского Национального Конгресса и Коммунистической Партии Южной Африки. После этого де Клерк объявил переговоры о переходном периоде для разделения власти между белыми и черными и переходе к правлению большинства.

В ретроспективе мы видим, как было трудно осознать глубину кризиса, в котором диктатуры оказались жертвой ложной веры в способность авторитарных систем вечно поддерживать свое существование, или, говоря более широко, в жизнеспособность сильных государств. Государство либеральной демократии слабо по определению: охрана сферы прав личности означает резкое ограничение власти государства. Авторитарные режимы, как правые, так и левые, наоборот, используют власть государства для проникновения в частную жизнь и контроля ее с различными целями – укрепление военной силы, строительство эгалитарного общественного порядка или осуществление резкого экономического роста. То, что теряется при этом в царстве личной свободы, должно быть обретено на уровне национальных целей.

При последнем анализе выясняется, что ключевой слабостью, которая в конце концов и обрушила эти сильные государства, была неспособность к легитимности – то есть кризис на уровне идей. Легитимность – это не справедливость или право в абсолютном смысле; это относительное понятие, существующее в субъективном восприятии людей. Все режимы, способные к эффективным действиям, должны быть основаны на каком-то принципе легитимности²⁸. Не бывает диктатора, который правит исключительно «силой», как часто говорилось, например, о Гитлере. Тиран может силой подчинить себе своих детей, стариков, может быть, свою жену, если он физически сильнее их, но вряд ли он сможет управлять таким образом двумя или тремя людьми, и уж тем более не многомиллионным народом²⁹. Когда мы говорим, что такой диктатор, как Гитлер, «правил силой», мы имеем в виду, что пособники Гитлера, в том числе нацистская партия, Гестапо и Вермахт, были способны физически запугать превосходящее их население. Но почему эти пособники были верны Гитлеру? Уж точно не из-за его способности их физически напугать: эта верность основывалась на вере в его легитимную власть. Аппарат безопасности тоже может управляться запугиванием, но в какой-то точке системы диктатор должен иметь преданных подчиненных, которые верят в легитимность его власти. То же верно относительно самого испорченного и прожженного босса мафии: он не станет *капо*, если его «семья» не примет на какой-то основе его «легитимности». Как объяснял Сократ в «Республике» Платона, даже в банде грабителей должен существовать какой-то принцип справедливости, на основании которого можно поделить добычу. Легитимность поэтому является краеугольным камнем даже самой несправедливой и кровожадной диктатуры.

Разумеется, нельзя это понимать так, будто режим нуждается в установлении легитимной власти над большей частью народа, чтобы уцелеть. Есть многочисленные современные примеры диктатур меньшинства, ненавидимых большинством народа и притом сумевших продержаться десятилетиями. Таков был, например, режим в Сирии или баасистская фракция Саддама Хусейна в Ираке. Не стоит и говорить, что различные военные хунты и олигархии

²⁸ Понятие легитимации было весьма разработано Максом Вебером, который классифицировал знаменитое трехчленное разделение властей как традиционное, рациональное и харизматическое. Велись серьезные споры, какая из этих веберовских категорий лучше характеризует власть в таких тоталитарных странах, как нацистская Германия или Советский Союз. См., например, различные работы в книге Rigby and Feher (1982). Оригинальные рассуждения Вебера о типах власти можно найти в *The Theory of Social and Economic Organization* под редакцией Talcott Parsons (New York: Oxford University Press, 1947), pp. 324–423. Трудность классификации тоталитарных государств по категориям Вебера наводит на мысль об ограниченности этой довольно формальной и искусственной системы идеальных типов.

²⁹ Положение сформулировано в ответе Кожева Штрауссу, «Tyranny and Wisdom» в книге Leo Strauss, *On Tyranny* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1963), pp. 152–153.

Латинской Америки правили без широкой народной поддержки. Нехватка легитимности среди населения в целом не говорит о кризисе легитимности режима, если эта нехватка не начинает инфицировать элиту, связанную с самим режимом, особенно тех, кто держит монополию на власть; например, правящую партию, вооруженные силы и полицию. Когда мы говорим о кризисе легитимности в авторитарной системе, мы говорим о кризисе в тех элитах, сплоченность которых только и позволяет режиму функционировать.

Легитимность диктатора может исходить из многих источников: от персональной верности со стороны лелеемой армии до изоцированной идеологии, оправдывающей его право на власть. В нашем столетии наиболее важной систематической попыткой организовать логически цельное, правого политического толка, не демократическое и не эгалитарное общество был фашизм. Фашизм – это не «универсальное» учение, как либерализм или коммунизм, поскольку он отрицает существование единого человечества или равенства человеческих прав. Фашистский ультранационализм утверждал, что изначальным источником легитимности является раса или нация, конкретнее – право «расы господ», например немцев, править всеми прочими. Сила и воля превозносились над рассудком или равенством и сами по себе считались правом на власть. Нацистское утверждение о немецком расовом превосходстве должно было быть активно доказано в конфликте с другими культурами. Война, следовательно, являлась положением не патологическим, а нормальным.

Фашизм не просуществовал достаточно долго, чтобы заболеть внутренним кризисом, – он был сокрушен вооруженной силой. Гитлер и оставшиеся его приближенные приняли смерть в своем берлинском бункере, веря до конца в правоту нацистского дела и в легитимность власти Гитлера. Впоследствии привлекательность фашизма была подорвана в глазах многих в результате этого поражения³⁰. То есть Гитлер основывал свое право на власть на обещании мирового господства, а вместо этого немцы получили ужасающие разрушения и оккупацию расами, которые считались низшими. Фашизм был крайне привлекателен не только для немцев, но и для многих людей во всем мире, когда это были только факельные шествия и бескровные победы, но становился весьма неприглядным, когда внутренне присущий ему милитаризм доводил до логического конца. Фашизм, можно сказать, страдал от внутреннего противоречия: его упор на милитаризм и войну неизбежно вел к губительному для него конфликту с международным сообществом. В результате он не мог составить серьезной идеологической конкуренции либеральной демократии после конца Второй мировой войны.

Конечно, можно спросить себя, насколько был бы сегодня легитимен фашизм, если бы Гитлер не потерпел поражения. И все же внутреннее противоречие фашизма было заключено глубже вероятности, что фашизм будет разбит военной силой народов мира. Если бы Гитлер оказался победоносен, фашизм все равно утерял бы свой внутренний *raison d'être*³¹ в мире универсальной империи, где германская нация не могла бы уже утверждать себя войной и завоеванием.

После поражения Гитлера правой альтернативой либеральной демократии осталась только группа устойчивых, но в конечном счете непоследовательных военных диктатур. Большая часть этих режимов не ставила себе более амбициозных целей, чем сохранение традиционного общественного устройства, и главной их слабостью был недостаток приемлемой долгосрочной базы для легитимности. Никто из них не мог сформулировать для нации, подобно Гитлеру, последовательную доктрину, которая оправдала бы постоянное авторитарное правление. Все они вынуждены были принять *принципы* демократии и народного суверенитета и утверждать, что их страны – по разным причинам – к демократии пока не готовы: то ли из-за

³⁰ Внутреннее инакомыслие в государстве Гитлера проявилось в июле 1944 года в виде заговора на его жизнь и стало бы, наверное, таким же всепроникающим, как в Советском Союзе, если бы этот режим продержался еще несколько десятилетий.

³¹ смысл существования (*фр.*).

угрозы со стороны коммунизма и терроризма, то ли из-за экономических неурядиц, оставленных в наследство прежним демократическим режимом. Каждый такой режим объявлял себя переходным, подготавливающим окончательное возвращение демократии³².

Слабость, подразумеваемая отсутствием логического источника легитимности, не означает, однако, быстрого или неизбежного падения авторитарных правительств правого толка. Демократические режимы Латинской Америки и Южной Европы тоже имели серьезные слабости, мешавшие решить целый спектр серьезных социальных и экономических проблем³³. Очень немногие из них сумели организовать быстрый экономический рост, и многие такие страны страдали от терроризма. Но недостаток легитимности становится решающей слабостью для авторитарных режимов правого крыла в тот момент, когда эти режимы практически неизбежно сталкиваются с кризисом или провалом в какой-то области политики. У легитимных режимов есть кредит доверия, который позволяет пережить сиюминутные ошибки, даже серьезные, а провал может быть искуплен отставкой премьер-министра или кабинета. Для нелегитимного режима провал часто заканчивается свержением самого режима.

Примером этого явилась Португалия. Диктатура Оливейра Салазара и его преемника Марселу Каэтану была с виду настолько стабильна, что некоторые наблюдатели называли португальцев «народом пассивным, фаталистическим и глубоко меланхолическим»³⁴. Как до того немцы и японцы, португальцы оконфузили тех западных комментаторов, которые ранее говорили, что португальский народ к демократии не готов. Режим Каэтану пал в апреле 1974 года, когда против него обернулась собственная армия, создавшая *Movimento das Forças Armadas* (MFA)³⁵. Непосредственным мотивом выступления послужило увязание страны в колониальной войне в Африке, которую нельзя было выиграть. Эта война съедала четверть бюджета Португалии и силы большей части португальской военной машины. Переход к демократии вышел не гладким, поскольку движение MFA отнюдь не было единодушно предано демократическим идеям. Значительная часть офицерского корпуса находилась под влиянием ортодоксально-сталинистской коммунистической партии Португалии под руководством Алваро Куньяла. Но в отличие от тридцатых годов центр и демократические правые оказались неожиданно стойкими: после бурного периода политических и социальных волнений умеренные социалисты Мариу Соареша выиграли выборы в апреле 1976 года. В немалой степени этому способствовала помощь извне от разных организаций, от Германской социал-демократической партии до американского ЦРУ. Но внешняя помощь оказалась бы бесполезной, если бы в Португалии не оказалось на удивление сильного гражданского общества: политических партий, союзов, церкви, – которые смогли мобилизовать широкие массы на поддержку демократии. Также сыграл роль манящий пример потребительского общества Западной Европы. Как сказал один комментатор: «Рабочие... [которые] могли бы маршировать на демонстрациях, скандируя лозунги социалистической революции... тратили деньги на одежду, бытовые приборы и безделушки потребительского общества Западной Европы, к жизненным стандартам которого они стремились»³⁶.

³² По этому поводу см. введение к сборнику под редакцией Guillermo O'Donnell and Phillippe Schmitter, *Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986d), p. 15.

³³ Классический труд на эту тему – сб. под редакцией Juan Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1978).

³⁴ Цитата из статьи некоего швейцарского журналиста в работе Phillippe C. Schmitter, «Liberation by *Golpe*: Retrospective Thoughts on the Demise of Authoritarianism in Portugal», *Armed Forces and Society* 2, no. 1 (November 1975): 5–33.

³⁵ См. там же и в Thomas C. Bruneau, «Continuity and Change in Portuguese Politics: Ten Years after the Revolution of 25 April 1974» в сб. под редакцией Geoffrey Pridham, *The New Mediterranean Democracies: Regime Transition in Spain, Greece, and Portugal* (London: Frank Cass, 1984).

³⁶ Kenneth Maxwell, «Regime Overthrow and Prospects for Democratic Transition in Portugal» в сб. под редакцией Guillermo O'Donnell, Phillippe Schmitter, and Lawrence Whitehead, *Transition from Authoritarian Rule: Southern Europe* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986c), p. 136.

Переход к демократии Испании годом позже был, пожалуй, чистейшим случаем краха авторитарной легитимности. Генерал Франциско Франко во многих отношениях был последним представителем европейского консерватизма девятнадцатого века, в основе которого лежали трон и алтарь, того самого консерватизма, который потерпел поражение от Французской революции. Но католическое сознание Испании сильно изменилось с тридцатых годов: церковь в целом либерализовалась после Второго Ватиканского Собора шестидесятых годов, и важнейшие деятели и организации испанского католицизма приняли христианскую демократию Западной Европы. Испанская церковь не только открыла, что между христианством и демократией нет противоречий, она все больше стала принимать на себя роль защитницы прав человека и критика франкистской диктатуры³⁷. Это новое умонастроение проявилось в движении *Opus Dei* католических мирян-технократов, многие из которых вошли в правительство после 1957 года и активно участвовали в последующей экономической либерализации. Таким образом, после смерти Франко в ноябре 1975 года ключевые элементы его режима были готовы принять легитимность ряда договорных «пактов», которые мирно растворили все франкистские учреждения, легализовали оппозицию, в том числе Испанскую Коммунистическую партию, и позволили провести выборы учредительного собрания, которому предстояло написать полностью демократическую конституцию. Этого не могло бы случиться, если бы ключевые деятели старого режима (а главное, король Хуан Карлос) не считали бы франкизм анахронизмом в демократической Европе, на которую Испания начинала все больше походить в социальном и экономическом плане³⁸. Последние франкистские Кортесы сделали потрясающую вещь: подавляющим большинством приняли в ноябре 1976 года закон, который, в сущности, означал их самоубийство, определив, что следующие Кортесы будут избраны демократически. Как и в Португалии, население Испании в целом обеспечило почву для демократии, поддержав демократический центр, сначала утвердив на декабрьском референдуме 1976 года демократические выборы, затем спокойно приведя к власти правоцентристскую партию Суареса в июне 1977 года³⁹.

Если рассмотреть переход к демократии в Греции и Аргентине в 1974 и 1983 годах соответственно, то видно, что военные не были отстранены от власти силой. Они уступили гражданской власти благодаря расколу в собственных рядах, отражавшему потерю веры в свое право на власть. Как и в Португалии, непосредственной причиной явился внешнеполитический провал. Полковники, которые пришли в Греции к власти в 1967 году, никогда не искали себе легитимности иначе как в демократии, утверждая, что только готовят путь для восстановления «здоровой» и «возрожденной» политической системы⁴⁰. Поэтому военный режим стал уязвим, когда дискредитировал себя поддержкой стремления греческих киприотов к объединению с континентальной Грецией, которое привело лишь к оккупации Кипра Турцией и возможности полномасштабной войны⁴¹. Главной целью военной хунты, свергнувшей президента Изабеллу Перон и захватившей власть в Аргентине в 1976 году, было избавление аргентинского обще-

³⁷ См. Kenneth Medhurst, «Spain Evolutionary Pathway from Dictatorship to Democracy» в Pridham (1984), pp. 31–32; и в Jose Casanova, «Modernization and Democratization: Reflections on Spain's Transition to Democracy», *Social Research* 50 (Winter 1983): 929–973.

³⁸ Jose Maria Maravall and Julian Srtamaria, «Political Change in Spain and the Prospect for Democracy», в O'Donnell and Phillippe Schmitter (1986c), p. 81. Опрос, проведенный в декабре 1975 года, показал, что 42,2 % опрошенных и 51,7 % выразивших мнение склонялись к необходимости изменений, чтобы вывести Испанию на уровень демократических государств Западной Европы. John F. Coverdale, *The Political Transformation of Spain after Franco* (New York: Praeger, 1979), p. 17.

³⁹ Несмотря на оппозицию твердых франкистов, 77,7 % всех граждан, обладающих избирательным правом, голосовали на декабрьском референдуме в 1976 году, и из них 94,2 % проголосовали «за». Coverdale (1979), p. 53.

⁴⁰ P. Nikiforos Diamandouros, «Regime Change and Prospects for Democracy in Greece: 1974–1983», в O'Donnell, Schmitter, and Whitehead (1986c), p. 148.

⁴¹ На отсутствие у военных уверенности в себе указало восстановление традиционной иерархии командования, которое выбило почву из-под ног главы режима, бригадир-генерала Деметриоса Иоаннидеса. «Transition to, and Consolidation of, Democratic Politics in Greece, 1974–1983: A Tentative Assessment», в Pridham (1984), pp. 53–54.

ства от терроризма. Этой цели хунта достигла путем жестокой войны и тем самым подорвала свой главный *raison d'être*. Решения военной хунты вторгнуться на Фолклендские (Мальвинские) острова оказалось достаточно для дискредитации режима, поскольку вызвало ненужную войну, которую режим выиграть не смог⁴².

В других случаях сильные военные правительства не могли решить социальные и экономические проблемы, которые лишили легитимности их демократических предшественников. Перуанские военные вернули власть гражданскому правительству в 1980 году перед лицом быстро нарастающего экономического кризиса, когда правительство генерала Франциско Моралеса Бермудеса обнаружило, что не может справиться с серией забастовок и неослабевающими социальными проблемами⁴³. Бразильские военные правили в период заметного экономического роста с 1968 по 1973 год, но когда начались мировой нефтяной кризис и застой, военные правители поняли, что не обладают способностями к управлению экономикой. Когда последний военный президент Жоао Фигейреду уступил место избранному гражданскому президенту, многие из военных испытали облегчение и даже стыд за сделанные ранее ошибки⁴⁴. Уругвайские военные изначально взяли власть для ведения «грязной войны» против повстанцев тупемарос в 1973–1974 гг. Но в Уругвае существовали сравнительно сильные демократические традиции, что, быть может, и склонило уругвайских военных сделать попытку институционализации своего правления путем плебисцита в 1980 году. Попытка оказалась неудачной, и в 1983 году военное правительство добровольно сложило с себя полномочия⁴⁵.

Создатели системы апартеида в Южной Африке, такие, как бывший премьер Фервурд, отрицали либеральный постулат о равенстве людей и считали, что существует естественное разделение и неравенство человеческих рас⁴⁶. Апартеид был попыткой обеспечить промышленное развитие Южной Африки на базе использования труда черных и в то же время препятствовать урбанизации южноафриканских чернокожих, что было бы естественным следствием любого процесса индустриализации. Такая попытка организации общества была монументально амбициозна и, как видно в ретроспективе, монументально глупа по своей конечной цели: в 1981 году почти восемнадцать миллионов чернокожих подверглись аресту за нарушение так называемых «законов о паспортизации». Их преступление состояло в том, что они хотели жить поближе к месту своей работы. Невозможность отрицать законы современной экономики привела в конце восьмидесятых годов к революции в мышлении африкандеров, и это заставило де Клерка задолго до того, как он стал президентом, заявить, что «экономика требует постоянного присутствия миллионов чернокожих в городах» и что «нет пользы в самообмане по этому поводу»⁴⁷. Потеря апартеидом легитимности в глазах белого населения была в конечном счете вызвана его неэффективностью, и это привело к тому, что большинство африкандеров приняло новую систему разделения власти с чернокожими⁴⁸.

⁴² См. Carlos Waisman, «Argentina: Autarkic Industrialization and Illegitimacy» в сб. под редакцией Larry Diamond, Juan Linz, and Seymour Martin Lipset, *Democracy in Developing Countries*, vol. 4, *Latin America* (Boulder, Colo: Linne Rienner, 1988b), p. 85.

⁴³ Cynthia McClintock, «Peru: Precarious Regimes, Authoritarian and Democratic», в сб. Diamond et al. (1988b), p. 350. Кроме того, резкое противостояние между традиционной перуанской олигархией и реформистской партией страны АПРА к тому времени достаточно смягчилось, чтобы президент из этой партии смог прийти к власти в 1985 году.

⁴⁴ Об этом периоде бразильской истории см. Thomas E. Skidmore, *The Politics of Military Rule in Brazil, 1964–1985* (New York: Oxford University Press, 1988), pp. 210–255.

⁴⁵ Charles Guy Gillespie and Luis Eduardo Gonzalez, «Uruguay: the Survival of Old and Autonomous Institutions» в сб. Diamond et al. (1988b), pp. 223–226.

⁴⁶ Фервурд, министр по делам коренного населения после 1950 года и премьер-министр с 1961 по 1966 год, учился в Германии в двадцатые годы и привез оттуда в Южную Африку «неофитскую» теорию Народа (Volk). См. T.R.H. Davenport, *South Africa: A Modern History* (Johannesburg: Macmillan South Africa, 1987), p. 318.

⁴⁷ Цитируется у John Kane-Berman, *South Africa's Silent Revolution* (Johannesburg: South African Institute of Race Relations, 1990), p. 60. Разумеется, заявление было сделано в ходе предвыборной кампании 1987 года.

⁴⁸ К этим примерам можно добавить Ирак под властью Саддама Хусейна. Как и многие полицейские государства двадцатого века, Ирак выглядел просто великолепно, пока его военная сила не рухнула под тяжестью американских бомб. Впечат-

Несмотря на реальные отличия этих случаев друг от друга, можно заметить поразительную похожесть переходов к демократии в Южной Европе, Латинской Америке и Южной Африке. Если не считать режима Сомосы в Никарагуа, не было ни одного случая, когда старый режим был бы отстранен от власти вооруженным мятежом или революцией⁴⁹. Перемена режима становилась возможной из-за *добровольного* решения по крайней мере части деятелей старого режима передать власть демократически избранному правительству. Хотя это добровольное отречение от власти всегда провоцировалось каким-то непосредственным кризисом, в конечном счете оно становилось возможным из-за набирающего силу мнения, что в современном мире единственный легитимный источник власти – демократия. Достигнув ограниченной цели, поставленной перед собой – подавление терроризма, восстановление общественного порядка, прекращение экономического хаоса и тому подобное, – правые авторитарные режимы Латинской Америки и Европы оказывались перед тем фактом, что не могут более оправдывать свое нахождение у власти, и теряли веру в себя. Трудно убивать людей во имя трона и алтаря, если сам король хочет быть не больше чем конституционным монархом демократической страны или если церковь возглавляет борьбу за права человека. Так что житейская мудрость «никто не расстается с властью добровольно» не слишком многого стоит.

Естественно, что многие из прежних авторитарных деятелей не превратились в демократов тут же на месте, и часто они бывали жертвами собственной некомпетентности и просчетов. Ни генерал Пиночет в Чили, ни сандинисты в Никарагуа не ожидали, что проиграют выборы, на которые они шли. Но факт тот, что даже самые твердокаменные диктаторы считали себя обязанными получить хотя бы налет демократической легитимности, устроив выборы. И во многих случаях уход от власти сильных мужчин в мундирах был связан со значительным личным риском, поскольку эти люди лишались главной защиты от мести тех, кто был ими обижен.

Наверное, не должно удивлять, что авторитарные деятели правого толка потеряли власть из-за идеи демократии. Власть в самых сильных государствах правых была на самом деле довольно ограниченной, когда дело касалось экономики или общества в целом. Их лидеры представляли традиционные социальные группы, которые становились в обществе все более маргинальными, и правящие генералы с полковниками обычно бывали лишены идей и интеллекта. Но как обстоит дело с коммунистическими тоталитарными державами, с левыми? Не переопределили ли они значение термина «сильное государство» и не нашли ли формулу вечно самоподдерживающейся власти?

ляющая военная машина, самая большая на Ближнем Востоке и основанная на нефтяных запасах, уступающих только Саудовской Аравии, оказалась гнилым орехом, поскольку иракское население вовсе не желало сражаться за режим. Это сильное государство показало коренную слабость, в течение одного десятилетия втянувшись в две разрушительные и ненужные войны – такие войны, которые вряд ли затеял бы демократический Ирак, ответственный перед своим народом. Хотя Саддам Хусейн, к удивлению своих противников, пережил войну, его будущее и статус Ирака как сильной державы в регионе под серьезным вопросом.

⁴⁹ Забастовки и протесты действительно сыграли определенную роль в добровольных уходах авторитарных правительств в Греции, Перу, Бразилии, Южной Африки и т.д., но в других случаях падение режима определялось, как мы видели, внешнеполитическим кризисом. Однако никак нельзя сказать, что эти факторы *вынудили* отстранение прежних режимов от власти – те вполне могли бы удержаться, если бы решили цепляться за власть.

Глава 3

Слабость сильных государств II, или Поедание ананасов на Луне

Хорошо, так вот цитата из сочинения куйбышевского десятиклассника, написанного еще в шестидесятых годах: «Год 1981. Коммунизм. Коммунизм – это изобилие материальных и культурных благ... Весь городской транспорт электрифицирован, вредные предприятия выведены за пределы городов... Мы на Луне, ходим среди цветов и плодовых деревьев...»

Так сколько же это лет еще ждать, пока мы будем есть ананасы на Луне? Нам бы когда-нибудь помидоров на Земле поест вволю!
Андрей Нуйкин, «Пчела и коммунистический идеал»⁵⁰

Тоталитаризм – это концепция, созданная на Западе после Второй мировой войны для описания Советского Союза и нацистской Германии, тираний, весьма отличающихся от традиционных авторитаризмов девятнадцатого столетия⁵¹. Гитлер и Сталин дерзостью своих политических и общественных стремлений придали новый смысл понятию сильного государства. Традиционный деспотизм наподобие существовавшего во франкистской Испании или представленного в виде различных военных диктатур Латинской Америки никогда не стремился раздавить «гражданское общество» – то есть общественную сферу частных интересов, – а хотел лишь контролировать ее. Ни фалангисты Франко, ни перонистское движение в Аргентине не смогли выработать систематической идеологии и лишь вполсилы старались переменить ценности и умонастроения народа.

А тоталитарное государство строится на явно выраженной идеологии, дающей универсальную точку зрения на человеческую жизнь. Тоталитаризм задается целью уничтожить гражданское общество полностью, установить «тотальный» контроль над жизнью своих граждан. С той минуты, как большевики захватили власть в 1917 году, Советское государство систематически преследовало все возможные конкурирующие источники легитимности в российском обществе, включая политические партии, прессу, профсоюзы, частные предприятия и церковь. Хотя до конца тридцатых годов и оставались некоторые институты, носящие эти имена, это были лишь призраки прошлого, организованные режимом и полностью ему подконтрольные. Осталось общество, члены которого были низведены до «атомов», не связанных ни с какими институтами-посредниками, кроме всемогущего правительства.

Тоталитарное государство надеялось переделать советского человека, изменив структуру его верований и ценностей путем контроля над прессой, образованием и пропагандой. Эта цель распространялась на самые личные и интимные связи человека – на семейные. Юный Павлик Морозов, выдавший своих родителей сталинской полиции, много лет выдвигался режимом в качестве примера для каждого ребенка. Говоря словами Михаила Геллера: «Человеческие отношения, составляющие ткань общества – семья, религия, историческая память, язык, – стали мишенью; общество систематически и методически атомизировалось, близкие личные

⁵⁰ В сборнике под редакцией Ю. Афанасьева «Иного не дано» (Москва, «Прогресс» 1989), стр. 510.

⁵¹ Стандартное определение тоталитаризма было дано в книге Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzezinski, *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, second edition (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1965).

связи человека искоренялись и заменялись иными, выбранными и утвержденными для него государством»⁵².

В романе Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», вышедшем в 1962 году, приведена иллюстрация тоталитарных надежд. Герои книги – пациенты сумасшедшего дома, живущие инфантильно-бессмысленной жизнью под надзором властной Большой Сестры. Герой романа МакМерфи пытается их освободить, нарушая правила больницы, выводя заключенных-пациентов к свободе. Но в ходе этой попытки он обнаруживает, что среди них нет ни одного, которого держат в больнице против его воли. В конце концов они все от страха перед внешним миром добровольно остаются в стенах больницы под властной защитой Большой Сестры. Это и была конечная цель тоталитаризма: не просто лишить свободы нового советского человека, но заставить его бояться свободы и даже без принуждения признавать свои цепи чем-то благодетельным.

Многие считали, что действенность советского тоталитаризма опиралась на авторитарные традиции русского народа, существовавшие задолго до большевизма. Европейский взгляд на русских, популярный в девятнадцатом веке, изложил французский путешественник Кюстин, который характеризовал их как народ, «приверженный к рабству, который... всерьез воспринимает только террор и властность»⁵³. Западная вера в стабильность советской системы основывалась на вере, сознательной или нет, что русский народ в демократии не заинтересован. В конце концов, советская власть не была в 1917 году навязана русским внешней силой, как было в Восточной Европе после Второй мировой войны, и она просуществовала после большевистской революции лет шестьдесят – семьдесят, выдержав голод, беспорядки и вторжение. Это наводило на мысль, что система завоевала себе некоторую легитимность в широких массах и уж точно в правящей элите, поскольку отражала естественную склонность общества к авторитаризму. И западные комментаторы, которые вполне были готовы поверить, что польский народ желал бы сбросить коммунизм, если представится шанс, русскому народу в такой вере отказывали. Иными словами, они считали, что русские – пациенты сумасшедшего дома, которых удерживают не решетки и смирительные рубашки, а собственная тяга к безопасности, порядку, власти и еще некоторым благам, которые советский режим им бросал, – например, имперское величие и статус сверхдержавы. Сильное Советское государство выглядело очень сильным, и нигде так сильно, как в глобальном стратегическом соревновании с Соединенными Штатами.

Считалось, что тоталитарное государство может не только вечно длить свое существование, но и размножаться по всему миру, реплицируя себя как вирус. Когда коммунизм бывал занесен в Восточную Германию, на Кубу, во Вьетнам, в Эфиопию – он всюду появлялся снабженный авангардной партией, централизованными министерствами, полицейским аппаратом и идеологией, охватывающей все стороны жизни. И эти институты действовали независимо от национальных или культурных традиций рассматриваемых стран.

И что же случилось с этим вечным двигателем механизма власти?

В год 1989-й, двухсотлетнюю годовщину Великой Французской революции и ратификации конституции США, решительный крах коммунизма стал фактором мировой истории.

С начала восьмидесятых годов изменения в коммунистическом мире пошли так быстро и непрерывно, что иногда мы воспринимаем их как данность и забываем о масштабе случившегося. А поэтому полезно было бы оглянуться на главные вехи этого периода.

- В начале восьмидесятых годов руководство коммунистического Китая стало позволять крестьянам, составляющим 80 % населения страны, выращивать и продавать провизию.

⁵² Mikhail Heller, *Cogs in the Wheel: The Formation of Soviet Man* (New York: Knopf, 1988).

⁵³ Custine, Marguis de. *Journes for Our Time* N 41951. P. 30.

Фактически это была деколлективизация сельского хозяйства, и капиталистические рыночные отношения стали возникать вновь не только в селе, но и в городской промышленности.

- В 1986 году советская пресса начала печатать критические статьи о преступлениях сталинской эпохи – тема, которую не поднимали с момента свержения Хрущева в первой половине шестидесятых. После этого стали резко расширяться свобода прессы и нарушаться одно табу за другим. К 1989 году на Горбачева и высшее советское руководство можно было открыто нападать в печати, а в 1990–1991 годах по всему Советскому Союзу прошли массовые демонстрации с требованием его отставки.

- В марте 1989 года прошли выборы на вновь образованный Съезд народных депутатов и в Верховный Совет. В следующем году прошли выборы в каждой из 15 союзных республик СССР и местные выборы. Коммунистическая партия попыталась подстроить выборы в свою пользу, но даже при этом не смогла предупредить переход ни одного местного парламента под контроль не коммунистических депутатов.

- Весной 1989 года Пекин временно захватили десятки тысяч студентов, требующих положить конец коррупции и установить в Китае демократию. В июне они были беспощадно раздавлены китайской армией, но все же успели публично поставить под вопрос легитимность Коммунистической партии Китая.

- В феврале 1989 года Советская армия ушла из Афганистана. Это, как потом оказалось, было лишь началом ее вывода из многих стран.

- В начале 1989 года реформисты в Венгерской Социалистической Рабочей Партии объявили о планах свободных многопартийных выборов в следующем году. В апреле 1989 года соглашение «круглого стола» привело к соглашению о разделении властей между Польской Объединенной Рабочей Партией и профсоюзом «Солидарность». В результате выборов – на которые польские коммунисты пытались повлиять, и тоже безуспешно – к власти в июле пришло правительство «Солидарности».

- В июле-августе 1989 года десятки, а затем сотни тысяч восточных немцев стали перебегать в Западную Германию, создав кризис, который быстро привел к уничтожению Берлинской стены и краху восточногерманского государства.

- Падение Восточной Германии запустило цепь падений коммунистических правительств в Чехословакии, Болгарии и Румынии. К началу 1991 года все бывшие коммунистические страны Восточной Европы, включая Албанию и главные республики Югославии, провели по возможности свободные, многопартийные выборы. Прежде всего коммунисты были отстранены от власти всюду, кроме Румынии, Болгарии, Сербии и Албании; в Болгарии избранное коммунистическое правительство вынуждено было вскоре уйти в отставку⁵⁴. Политическая база Варшавского Договора исчезла, и Советские вооруженные силы начали покидать Восточную Европу.

- В январе 1990 года была отменена статья шестая Конституции СССР, гарантирующая коммунистической партии «руководящую роль».

- Следом за ликвидацией статьи шестой в Советском Союзе стали появляться некоммунистические партии, и они пришли к власти в некоторых союзных республиках. Самым поразительным было избрание Бориса Ельцина президентом Российской республики весной 1990 года. Многие из поддержавших его в парламенте вышли впоследствии из коммунистической партии. Эта же группа стала требовать возвращения частной собственности и рынков.

- Свободно избранные парламенты в каждой союзной республике, включая Россию и Украину, объявили о «суверенитете» в течение 1990 года. Парламенты балтийских государств

⁵⁴ Все эти юго-восточные европейские страны после 1989 года прошли путь одной и той же эволюции. Осколки бывшего коммунистического режима сумели перекараситься в «социалистов» и выиграть приемлемо честные выборы, но потом попали под огонь интенсивной критики, поскольку население радикализировалось в своих требованиях демократии. Такое давление свергло режим в Болгарии и сильно ослабило других «перекрашенных», кроме Милошевича в Сербии.

пошли намного дальше и декларировали полную независимость от Советского Союза в марте 1990 года. Это привело не к немедленному «закручиванию гаек», как ожидали многие, а к борьбе за власть в России между теми, кто хотел и кто не хотел сохранять старый Союз.

- В июне 1991 года в России прошли первые полностью свободные выборы, и Ельцин был избран президентом Российской Федерации. Этот факт отразил быстрое перетекание власти от Москвы к периферии.

- В августе 1991 года провалился путч, организованный против Горбачева группой твердокаменных коммунистов. Частично это произошло из-за некомпетентности и нерешительности заговорщиков, но главное – из-за потрясающей поддержки, которую оказал Борису Ельцину в борьбе за демократические институты советский народ – тот самый, политически пассивный и жаждущий сильной руки.

Любой трезвомыслящий исследователь коммунистических государств сказал бы в 1980 году, что каждое из этих событий вряд ли вероятно или хотя бы возможно в ближайшем десятилетии. Такое суждение основывалось бы на взгляде, что любое из перечисленных событий подрывает ключевой элемент коммунистической тоталитарной власти, тем самым нанося смертельный удар системе в целом. И, разумеется, окончательно занавес упал, когда старый СССР распался и коммунистическая партия была запрещена в России после неудачного августовского путча 1991 года. Тогда каким же образом прежние ожидания нас обманули и какие невероятные слабости этого сильного государства открылись нам с началом *перестройки*?

Самой основной слабостью, серьезность которой ускользнула от внимания западных комментаторов, была экономика. Экономические провалы очень болезненно воспринимались в советской системе, поскольку сам режим свою претензию на легитимность основывал на том, что может обеспечить своему народу высокий материальный уровень жизни. Как ни трудно сейчас это вспомнить, но экономический рост фактически рассматривался как сила Советского государства до начала семидесятых: с 1928 по 1955 год ВВП Советского Союза рос темпами от 4,4 % до 6,3 % в год и вырос наполовину так же быстро, как рос ВВП США в следующие два десятилетия, так что угроза Хрущева догнать и похоронить Соединенные Штаты казалась вполне реальной⁵⁵. Но с середины семидесятых годов этот темп замедлился до цифр, равных, по оценке ЦРУ, от 2,0 % до 2,3 % в год между 1975–1985 гг. Есть все более ясные свидетельства, что эти цифры серьезно переоценивали рост, не учитывая скрытую инфляцию; многие советские экономисты – сторонники реформ – утверждали, что рост в этот период был от 0,6 % до 1,0 % в год, если не нулевой⁵⁶. Отсутствие роста ВВП в сочетании с расходами на оборону, ежегодно росшими в начале восьмидесятых на 2–3 процента в год, означало, что мирная экономика фактически сокращалась заметными темпами десять лет, предшествовавших приходу к власти Горбачева⁵⁷. Всякий, кому случалось останавливаться в советской гостинице, делать покупки в советском магазине или ездить в советские деревни, где видна была самая настоящая нищета, должен был понять, что в советской экономике имеются весьма серьезные проблемы, не отраженные полностью в официальной статистике.

Важен был способ интерпретации этого экономического кризиса. К концу восьмидесятых годов в советской экономической элите произошла примечательная интеллектуальная революция. Старая гвардия брежневских дней за три-четыре года сменилась горбачевской вол-

⁵⁵ Ed Hewett, *Reforming the Soviet Economy: Equality versus Efficiency* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1988), p. 38.

⁵⁶ Андерс Аслунд (Anders Aslund); цифры Селюнина и Ханина и Абеда Аганбеяна приводятся в работе Aslund, *Gorbachev's struggle for Economic Reform* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1989), p. 15. Аслунд указывает, что советские расходы на оборону в процентах от ВВП, по оценке ЦРУ достигавшие 15–17 % чистого материального продукта в течение почти всего послевоенного периода, на самом деле доходили до 25–30 %. В начале девяностых годов такие официальные представители Советского Союза, как Эдуард Шеварднадзе, обычно указывали цифру оборонных затрат в советской экономике в размере 25 % ВВП.

⁵⁷ Там же.

ной реформистов, таких как Абель Аганбегян, Николай Петраков, Станислав Шаталин, Олег Богомолов, Леонид Абалкин, Григорий Явлинский и Николай Шмелев. Все эти люди понимали – хотя иногда и не до конца – базовые принципы либеральной экономической теории и были убеждены, что централизованная советская административно-командная система является коренной причиной упадка экономики СССР⁵⁸.

Однако было бы ошибкой интерпретировать последующие события перестройки всего лишь в терминах экономических императивов⁵⁹. Как указывал сам Горбачев, в 1985 году Советский Союз не был в кризисной ситуации, но лишь в «предкризисной». Другие государства переживали куда более серьезные экономические непогоды. Например, в США во время Великой Депрессии реальный ВВП страны упал почти на треть, но это не привело к дискредитации американской системы. Серьезная слабость советской экономики иногда признавалась, и запускались разнообразные традиционные реформы, которые должны были остановить спад⁶⁰.

Так что для понимания истинных слабостей Советского государства экономические проблемы следует рассматривать в контексте куда более масштабного кризиса – кризиса легитимности всей системы в целом. Экономический провал – это был лишь один из многих провалов советской системы, которые спровоцировали отказ от системы верований и обнажили слабость самой структуры. Главным поражением тоталитаризма оказалась неспособность управлять мыслями. Советские граждане, как выяснилось, все это время сохраняли способность мыслить самостоятельно. Многие понимали, несмотря на годы пропаганды, что их правительство им лжет. Люди помнили зло за личные страдания, перенесенные при сталинизме. Практически в каждой семье погиб кто-то из родственников или друзей при коллективизации, в Большой Террор тридцатых годов, на войне, которая обошлась гораздо дороже из-за внешнеполитических ошибок Сталина. Люди знали, что жертвы были осуждены несправедливо и что советский режим так и не принял на себя ответственность за эти страшные преступления. Люди понимали и то, что в якобы бесклассовом обществе возник новый класс – класс партийных функционеров, столь же коррумпированный и привилегированный, как любой правящий класс старого режима, но куда более лицемерный.

В доказательство этого вспомним, что Горбачев все время пользовался для обозначения своих целей словом «демократизация». Ленин, разумеется, утверждал, что Советский Союз с диктатурой партии куда ближе к истинной демократии, чем «формальные» демократии Запада. Но никто в Советском Союзе, говоря слово «демократизация», не имел никаких иллюзий, будто это слово значит что-то, отличное от западной демократии, и никак уж не ленинский централизм. Аналогично термин «экономический» (в словосочетаниях «экономические соображения» или «экономически оптимально») сегодня означает «эффективный», определяемый капиталистическим законом спроса и предложения. И любой советский молодой человек, доведенный до отчаяния невозможным качеством жизни в СССР, скажет вам, что его единственное желание – жить в «нормальной» стране, то есть в либеральной демократии, не извращенной идеологией марксизма-ленинизма. Как сказала мне одна моя приятельница из Совет-

⁵⁸ Обзор этих различных школ советской экономики см. Aslund (1989), pp. 3–8, и Hewlett (1988), pp. 274–302. Репрезентативный пример советской критики центрального планирования см. в статье Гавриила Попова «Реструктуризация управления экономикой» в сб. под редакцией Афанасьева (1989), стр. 621–623.

⁵⁹ Совершенно ясно, что и Андропов, и Горбачев до некоторой степени понимали размеры экономического застоя, когда занимали свой пост, и что ранние реформы обоих этих лидеров были продиктованы пониманием необходимости предотвратить экономический кризис. См. Marshall I. Coldman, *Economic Reform in the Age of High Technology* (New York: Norton, 1987), p. 71.

⁶⁰ Почти все внутренние причины неэффективности и патологии централизованного планирования, вскрытые в ходе *перестройки*, были документально изложены в пятидесятых годах в таких книгах, как Joseph Berliner, *Factory and Management In the USSR* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1957), основанных на беседах с эмигрантами. Предположительно, КГБ вполне был в состоянии провести аналогичный анализ для таких советских лидеров, как Горбачев и Андропов, после их прихода к власти.

ского Союза в 1988 году, ей было трудно заставить детей делать уроки, поскольку «все знают», что демократия – это значит «можешь делать все, что хочешь».

Но важнее то, что недовольны системой были не только ее жертвы, но и те, кого она возвысила. Александр Яковлев, член Политбюро с 1986 по 1990 год, который был архитектором политики гласности, Эдуард Шеварднадзе, министр иностранных дел, который озвучил политику «нового мышления», и Борис Ельцин, президент России, – все они сделали карьеру в самом сердце партийного аппарата. Как члены франкистских Кортесов, как аргентинские и греческие генералы, добровольно отдавшие власть, эти люди знали, что в самой основе советской системы угнездилась серьезная болезнь, и они находились на должностях высшей власти, где могли чем-то помочь в лечении. Попытки реформ конца восьмидесятых годов не были навязаны Советскому Союзу извне, хотя в основе необходимости реформ лежало соревнование с Соединенными Штатами. Но сами реформы явились результатом внутреннего кризиса уверенности, который поразил широкий сегмент советской элиты предыдущего поколения.

Подрыв легитимности системы не планировался заранее и не произошел в один день. Сначала Горбачев использовал гласность и демократизацию как инструменты для укрепления своей руководящей позиции, а потом – чтобы мобилизовать народную оппозицию против окопавшегося экономического чиновничества. При этом он не отклонялся от той тактики, что применял в пятидесятые годы Хрущев⁶¹. Но эти начальные акты во многом символической политической либерализации скоро начали жить своей жизнью и стали требовать изменений уже ради себя самих. Изначальный призыв Горбачева к гласности и перестройке вызвал резонанс среди масс интеллигенции, которую не надо было убеждать в дефектности системы. И оказалось, что есть лишь один набор стандартов, которыми была старая система измерена и найдена неудачной: стандарты либеральной демократии, то есть продуктивность рыночной экономики и свобода демократической политики⁶².

Советские люди, униженные своими властителями и презираемые не только остальной Европой, но и своей интеллигенцией за пассивную покорность тоталитаризму, показали, что и Европа, и эта интеллигенция не правы. После 1989 года на выжженной земле тоталитаризма стало восстанавливаться гражданское общество – политические партии, профсоюзы, новые журналы и газеты, экологические клубы, литературные общества, церкви, националистические группы и так далее. Миф, что советские люди принимают легитимность старого общественного договора, рушился на каждых выборах, где подавляющее большинство при первой возможности голосовало против представителей старого аппарата. Политическая зрелость российского народа нигде так не проявилась, как при выборе Ельцина первым всенародно избранным президентом России, именно его, а не какого-нибудь полуфашистского демагога вроде Милошевича в Сербии или полудемократа вроде Горбачева. Эта зрелость проявилась и тогда, когда народ России поднялся на призыв Ельцина защитить новые демократические институты против консервативного переворота, совершенного в августе 1991 года. Как и ранее жители Восточной Европы, россияне показали себя не инертными и атомизированными, а готовыми защищать свое достоинство и свои права⁶³.

⁶¹ В 1985 году Горбачев фактически восхвалял деятельность Сталина в целом; к концу 1987 года он (как ранее Хрущев) все еще одобрял действия Сталина в период коллективизации. И только в 1988 году он оказался готов согласиться с ограниченной либерализацией, которую отстаивали Бухарин и Ленин в период нэпа в начале двадцатых годов. См. упоминание о Бухарине в речи Горбачева на торжественном заседании, посвященном семидесятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

⁶² На самом деле существуют русские националисты правого крыла вроде Александра Проханова, поддерживающие антикапиталистическую и антидемократическую идеологию, которая все же не является марксистской. В таких склонностях обвиняют Александра Солженицына, но он в конечном счете является критичным сторонником демократии. См. его статью «Как нам обустроить Россию» в «Литературной газете» № 18 (от 18 сентября) 1990 года, стр. 3–6.

⁶³ Я полностью подписываюсь под точкой зрения Джереми Азраэля (Jeremy Azrael), который считает, что перед русским народом следовало бы извиниться и его многочисленным западным хулителям, считавшим его неспособным выбрать демо-

Такое массовое разочарование в системе верований, лежащих в основе Советского Союза, не могло случиться за один день, и это заставляет предположить, что тоталитаризм как система рухнул намного раньше восьмидесятых годов. И, конечно, начало конца тоталитаризма можно было бы проследить вплоть до периода, последовавшего за смертью Сталина в 1953 году, когда режим перестал использовать террор без разбора⁶⁴. После так называемого «секретного доклада» Хрущева в 1956 году и закрытия сталинского ГУЛАГа режим не мог более в проведении своей политики полагаться только на силу и должен был все сильнее прибегать к умасливанию, кооптации и подкупу, чтобы привлечь народ к своим целям. Этот отход от террора в чистом виде был в некотором смысле неизбежен, потому что в сталинской системе ни один руководитель не мог чувствовать себя в безопасности – ни даже главы сталинской полиции Ежов или Берия, которые оба были казнены, ни министр иностранных дел Молотов, у которого жену отправили в лагеря, ни его преемник Хрущев, который живо описывал, как один кривой взгляд Сталина заставлял члена Политбюро дрожать за свою жизнь, ни даже сам Сталин, все время опасавшийся заговоров. Демонтаж системы террора, столь смертоносной для ее функционеров, стал поэтому почти неизбежен, как только смерть Сталина дала высшему руководству такую возможность.

Решение советского режима перестать убивать людей без разбора немедленно сдвинуло баланс власти между государством и обществом в пользу последнего и означало, что с этой минуты Советское государство уже не контролирует все без исключения стороны жизни советских людей. Потребительский спрос, или черный рынок, или местная политическая машина уже не могли быть просто раздавлены или использованы. Страх перед полицией оставался важным оружием государства, но часто держался на заднем плане и должен был подкрепляться другими политическими средствами, такими как обещание увеличить объем товаров народного потребления. До Горбачева целых 20 % советского ВВП производилось на черном рынке или проходило через него полностью вне контроля планирующего центра.

Примером ослабления контроля центра было возникновение различных «мафий» в национальных республиках СССР в шестидесятых – семидесятых годах, таких как «хлопковая мафия», процветавшая в Узбекистане под предводительством первого секретаря коммунистической партии Узбекистана Рашидова. Защищенный личными отношениями с советским президентом Брежневым, его дочерью Галиной и ее мужем Чурбановым (высоким полицейским чиновником в Москве), Рашидов годами мог править коррумпированной бюрократической империей. Эта группа чиновников подделывала документы о производстве хлопка в республике, переводила огромные средства на личные банковские счета и правила местной партийной организацией практически без контроля Москвы. В этот же период процветали мафии всех сортов во всем советском обществе, главным образом в национальных республиках, но также и в таких городах, как Москва и Ленинград.

Такую систему уже нельзя назвать тоталитарной; но это и не форма авторитаризма вроде диктатур Латинской Америки. Наверное, лучший термин для характеристики Советского Союза и Восточной Европы брежневского периода нашел Вацлав Гавел, назвавший эти режимы «посттоталитарными», указывая, что это уже не кровавые полицейские государства тридцатых – сороковых годов, но живут они под тенью прежней тоталитарной практики⁶⁵. Тота-

кратию, и собственной русофобской интеллигенции.

⁶⁴ Среди университетских советологов шел долгий спор относительно окончательного успеха тоталитарного проекта, а также о том, точен ли термин «тоталитарный» при описании режимов постсталинского СССР или любого из его бывших сателлитов в Восточной Европе. Датирование конца тоталитарного периода СССР сегодняшним днем поддерживает Андраник Мигранян в статье «Долгая дорога к европейскому дому», «Новый мир» № 7 (июль 1989), стр. 166–184.

⁶⁵ Václav Havel e.a. *The Power of Powerless* (London: Hutchinson, 1985), p. 27. Этот термин также использует Хуан Линц (Juan Linz) для описания коммунистических режимов брежневской эпохи. Неправильно было бы говорить, что Советский Союз под управлением Хрущева и Брежнева стал просто еще одним авторитарным государством. Некоторые советологи, например Джерри Хоуг (Jerry Hough), считали, что видят возникновение «групп интересов» или «институционального плюрализма»

литаризм не сумел убить в этих обществах демократические идеи, но его наследие мешало обществу перейти к демократии.

Точно так же рухнул тоталитаризм в Китайской Народной Республике и странах Восточной Европы. Централизованный правительственный контроль над китайской экономикой даже в «сталинистский» период КНР никогда не был так тотален, как в Советском Союзе, и около четверти всей экономики не учитывалось в национальном плане. Когда Дэн Сяопин поставил в 1978 году страну на курс экономических реформ, у многих китайцев еще живы были воспоминания о рынках и предпринимательстве пятидесятых годов, так что вряд ли удивительно, что они смогли в следующем десятилетии воспользоваться преимуществами либерализованной экономики. Начало экономических реформ символизировало раннее и явное признание коммунистическими лидерами несостоятельности централизованного планирования.

Тоталитарное государство, допускающее существование обширного частного сектора, по определению больше не является тоталитарным. В Китае в атмосфере относительной свободы, превалировавшей с 1978 года до закручивания гаек в 1989 году, очень быстро возродилось гражданское общество – в виде самостоятельных организаций бизнесменов, предпринимателей, неформальных групп и так далее. Китайские лидеры рассчитали, что им проще обеспечить себе легитимность, взяв на себя роль агентов модернизации и реформирования Китая, а не твердолобых защитников марксистской ортодоксии.

Но легитимности достичь было не легче, чем в случае Советского Союза. Экономическая модернизация требовала открытия китайского общества иностранным идеям и влияниям, она отнимала власть у государства в пользу гражданского общества, она открывала возможности для коррупции и других социальных зол, с которыми трудно бороться в однопартийной политической системе, и она создавала все более образованную и космополитическую элиту в больших городах, являвшуюся функциональным эквивалентом среднего класса. Это дети этой элиты организовали митинг, начавшийся на площади Тяньаньмэнь в апреле 1989 года в годовщину смерти Ху Яобана⁶⁶. Эти студенты, из которых кое-кто учился на Западе и был знаком с политической жизнью вне Китая, уже не удовлетворялись односторонними реформами китайской коммунистической партии, дававшими значительную экономическую свободу и никакой политической.

Есть люди, полагающие, что студенческий митинг на площади Тяньаньмэнь был не столько выражением спонтанного требования участия в политике, сколько отражением политической борьбы за пост Дэна между Чжао Цзянем и Ли Пенем⁶⁷. Вполне может быть: Чжао явно был более симпатичен митингующим студентам, чем остальные руководители, и он отчаянно пытался спасти себя, апеллируя к ним до подавления митинга военной силой 4 июня⁶⁸. Но то, что политические протесты были результатом манипуляции сверху, еще не значит, что они не были проявлением более глубокого недовольства китайского общества существующей политической системой. Более того, преемственность – это ахиллесова пята всех возможных тоталитаризмов. Без общепризнанного механизма передачи власти у претендентов на нее суще-

в Советском Союзе шестидесятых – семидесятых годов. Но хотя некоторые переговоры и компромиссы имели место, скажем, между различными советскими экономическими министерствами или между Москвой и партийными лидерами провинций, подобные взаимодействия происходили в рамках очень жестких правил, определенных самим государством. См. сборник под редакцией Н. Gordon Skilling and Franklyn Griffiths, *Interest Groups in Soviet Politics* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1871) и Hough (1979), pp. 518–529.

⁶⁶ Ху Яобан, бывший помощник Дэна, студентами воспринимался как сторонник реформ в Коммунистической партии Китая. Хронологию этих событий см. Lucian W. Pye, «Tiananmen and Chinese Political Culture», *Asian Survey* 30, no. 4 (April 1990b): 331–347.

⁶⁷ Это предполагал Генри Киссинджер в статье «The Caricature of Deng as Tyrant Is Unfair», *Washington Post* (August 1, 1989), p. A21.

⁶⁸ Ian Wilson and You Ji, «Leadership by 'Lines': China's Unresolved Succession», *Problems of Communism* 39, no. 1 (January-February 1990): 28–44.

ствуется постоянное искушение разыграть карту реформ как средство получить преимущество над соперниками.

Но розыгрыш этой карты почти неизбежно освобождает новые силы в обществе, ускользающие из-под контроля манипулятора.

После событий 1989 года Китай стал обычной азиатской авторитарной страной. Ему не хватает внутренней легитимности среди широкого сектора его собственной элиты, в частности, среди молодежи, которая когда-нибудь унаследует страну и не придерживается какой-то последовательной идеологии. КНР не будет более служить образцом революционерам, как было когда-то при Мао, тем более если ее сравнивать с быстро растущими капиталистическими странами региона.

И уже летом 1989 года, когда только начиналось массовое бегство из Восточной Германии, многие люди на Западе теоретизировали, что социализм в Восточной Германии и других странах Восточной Европы укоренился, и если дать народам этих стран выбор, они выберут «гуманную» левую альтернативу, то есть не коммунизм, не капиталистическую демократию. Это оказалось полной иллюзией. Падение тоталитаризма в Восточной Европе, где советские институты были силой навязаны не желавшим этого народам, произошло куда быстрее, чем в Советском Союзе и в Китае. Это вряд ли должно считаться удивительным. Гражданское общество было уничтожено не столь тщательно, в разных странах по-разному. Например, в Польше не было коллективизации сельского хозяйства, как в соседних Украине и Белоруссии, и церковь осталась более или менее независимой. В дополнение к тем причинам, которые были у советского народа для сопротивления ценностям коммунизма, местные националистические силы сохраняли живую память о докоммунистическом обществе, и это помогло в его быстром восстановлении после переворотов конца 1989 года. Как только Советы дали понять, что не будут вмешиваться в дела своих союзников в Восточной Европе, единственное, что могло удивить, – тотальная деморализация коммунистических аппаратов по всем восточноевропейским странам и тот факт, что вряд ли хоть один представитель старой гвардии пальцем шевельнул ради своей защиты.

Социализм и постколониальные традиции сильного государства почти полностью дискредитировали себя в Африке к концу восьмидесятых годов, поскольку большая часть стран региона испытала экономический коллапс и гражданскую войну. Самым разрушительным был опыт стран с несгибаемо-марксистским правлением, таких как Эфиопия, Ангола и Мозамбик. Возникли демократии в Ботсване, Гамбии, Сенегале, Маврикии и Намибии, а авторитарные режимы в огромном большинстве остальных африканских стран вынуждены были пообещать свободные выборы.

Разумеется, в Китае продолжают править коммунисты, как и на Кубе, в Северной Корее и во Вьетнаме. Но после внезапного падения шести коммунистических режимов в Восточной Европе с июля по декабрь 1989 года изменилось само восприятие коммунизма. Коммунизм, когда-то объявлявший себя более передовой формой общественного устройства, нежели либеральная демократия, стал прочно ассоциироваться с огромной политической и экономической отсталостью. Власть коммунизма в мире еще присутствует, но уже не олицетворяет собой привлекательной и динамической идеи. Те, кто называл себя коммунистами, теперь связаны постоянными арьергардными боями за сохранение положения и власти. Коммунисты оказались в незавидной позиции защитников старого реакционного общественного порядка, время которого давным-давно миновало, – вроде монархий, которые сумели сохраниться в двадцатом веке. Идеологическая угроза, которую они представляли для либеральных демократий, исчезла, а после ухода Красной армии из Восточной Европы во многом исчезла и военная.

Хотя демократические идеи подорвали легитимность коммунистов во всем мире, на пути установления демократии как таковой стоят огромные трудности. Студенческие протесты в Китае были подавлены партией и армией, и некоторые из прежних реформ Дэна после этого

были отменены. В пятнадцати республиках бывшего Советского Союза будущее демократии далеко не гарантировано. В Болгарии и Румынии продолжаются постоянные политические волнения после ухода коммунистов от власти. В Югославии – гражданская война и распад. Только Венгрия, Чехословакия, Польша и бывшая Восточная Германия как будто готовы перейти в следующем десятилетии к стабильной демократии и рыночной экономике, хотя даже и у них экономические проблемы, с которыми пришлось столкнуться, оказались намного серьезнее ожидаемых.

Существует довод, что пусть даже коммунизм умер, он быстро сменяется нетерпимым и агрессивным национализмом. Преждевременно еще праздновать кончину сильного государства, поскольку там, где коммунистический тоталитаризм не выжил, он попросту сменился националистическим авторитаризмом или даже фашизмом русской или сербской разновидности. В этой части света в ближайшем будущем не будет ни мира, ни демократии, и, согласно данной точке зрения, она будет представлять для существующих западных демократий такую же опасность, как и Советский Союз.

Но не следует удивляться, что не все бывшие коммунистические страны совершают быстрый и безболезненный переход к стабильной демократии. Напротив, удивительно было бы, если бы так случилось. Чтобы возникла стабильная демократия, необходимо преодолеть колоссальные препятствия. Например, старый Советский Союз просто был неспособен к демократизации. СССР с той степенью свободы, чтобы его можно было считать настоящей демократией, немедленно развалился бы по национальным и этническим границам, распался на меньшие государства. Это, конечно, не значит, что отдельные части СССР, в том числе Российская Федерация или Украина, не могут демократизироваться. Но процессу демократизации должен предшествовать болезненный процесс национального размежевания, такой, который не всегда происходит быстро и бескровно. Этот процесс начался с обсуждения Союзного Договора девятью из пятнадцати республик в апреле 1991 года и резко ускорился после провала августовского путча.

Более того, не существует внутреннего противоречия между демократией и хотя бы некоторыми из вновь возникших национализмов. В то время как возникновение стабильной либеральной демократии в Узбекистане или Таджикистане в ближайшее время крайне маловероятно, нет причин думать, что Литва или Эстония, получив национальную независимость, будут менее либеральны, чем Швеция или Финляндия. Неверно также, что новые национализмы, если им дать свободу, будут проявлять агрессию или экспансионизм. Одним из наиболее примечательных поворотов конца восьмидесятых – начала девяностых годов был поворот главной струи русского национализма к понятию «Малой России», заметный не только у таких либералов, как Борис Ельцин, но и у консервативных националистов вроде Эдуарда Володина и Виктора Астафьева.

Следует тщательно различать преходящие условия и постоянные. В республиках Советского Союза и странах Восточной Европы нам легко увидеть замену марксизма-ленинизма различными диктатурами, националистами и полковниками, кое-где даже коммунисты могут вернуться на сцену. Но представляемый ими авторитаризм останется местным и бессистемным. Они, как и диктаторы Южной Америки, столкнутся с фактом, что у них более нет ни долговременного источника легитимности, ни хорошего рецепта для решения встающих перед страной экономических и политических проблем. Многие из народов этого региона могут и не совершить переход к демократии при жизни нашего поколения, но следующее поколение вполне может это сделать. Путь к либеральной демократии для Западной Европы тоже не был быстр и легок, что не помешало каждой стране этого региона в конце концов его пройти.

Коммунистический тоталитаризм задумывался как формула для остановки всех естественных и органических процессов социальной эволюции и замены их рядом форсированных революций сверху: разрушение классовой структуры, быстрая индустриализация страны и кол-

лективизация сельского хозяйства. Этот тип масштабного «социального инжиниринга» должен был отличать коммунистические страны от не-тоталитарных, поскольку изменения порождались государством, а не обществом. Действие обычных законов экономической и политической модернизации, которые экономисты и социологи считали практически универсальными в «нормальных» обществах, было приостановлено⁶⁹. В результате реформ восьмидесятых годов в Советском Союзе и в Китае станут ясны какие-то очень важные черты эволюции человеческих обществ, пусть даже эти реформы не увенчаются успехом в ближайшем будущем. Главное в том, что хотя тоталитаризм сумел разрушить видимые институты дореволюционных России и Китая, его попытки создать «нового человека» маоистского или советского толка потерпели полнейший крах. Элита обеих стран, возникшая в эпоху Брежнева и Мао, оказалась куда больше похожа на элиту западных стран со сравнимым уровнем экономического развития, чем кто-либо мог предположить. И эта элита смогла понять, если даже не принять, общую потребительскую культуру Америки, Японии, Западной Европы, и много политических идей этих стран – тоже. Сохраняя множество чисто «посттоталитарных» свойств, жители Советского Союза и Китая оказались не атомизированными, беспомощными, тоскующими по сильной власти детьми, какими их рисовали западные теории. Они оказались взрослыми людьми, умеющими отличать правду от лжи, хорошее от дурного, и хотели, как и другие взрослые во все века человечества, признания своей зрелости и самостоятельности.

⁶⁹ Разумеется, общества такого типа весьма различно рассматриваются в таких отдельных дисциплинах, как «синология», «советология» или «кремлинология», которые обращают внимание не на широкие просторы гражданского общества, но лишь на политику ее предполагаемого суверена, а зачастую на политику группы десятка или дюжины людей у власти.

Глава 4

Мировая либеральная революция

Мы стоим у ворот важной эпохи, времени брожения, когда дух движется вперед скачками, покидая прежнюю форму и обретая новую. Вся масса прежних представлений, понятий и связей, соединявших наш мир в единое целое, растворяется и распадается, как сновидение. Готовит себя новая фаза духа.

И философия в особенности должна приветствовать ее появление и принять ее, пока другие, бессильно сопротивляясь ей, цепляются за прошлое.

Г.В.Ф. Гегель в лекции от 18 сентября 1806 г.⁷⁰

И коммунистические левые, и авторитарные правые оказались банкротами. У них нет серьезных идей, способных поддержать внутреннюю политическую спаянность сильных правительств, основанных на «монолитных» партиях, или на военных хунтах, или на личных диктатурах. Отсутствие легитимности у власти – это значит, что, когда режим терпит неудачу в какой-то области политики, у него нет более высокого принципа, к которому можно было бы воззвать. Некоторые сравнивают легитимность с резервным денежным фондом: у всех правительств, демократических и авторитарных, бывают свои прибыли и убытки, но только легитимное правительство имеет фонд, из которого можно взять средства во время кризиса.

Слабость авторитарного государства правых заключается в его неумении контролировать гражданское общество. Приходя к власти с мандатом «восстановить порядок» или ввести «экономическую дисциплину», многие из них оказываются не более успешными, чем их демократические предшественники, что в стимулировании экономического роста, что в наведении общественного порядка. А те, кто добивается успеха, подрываются на собственной петарде: общество, которое они возглавляют, начинает их перерастать. Растет образование народа, его процветание, ширится средний класс. Память о чрезвычайной ситуации, оправдывавшей сильное правительство, уходит, и общество все менее и менее склонно терпеть военное правление.

Тоталитарные правительства левых избегают подобных проблем, подчиняя своему контролю гражданское общество целиком, в том числе определяя, что разрешается думать их подданным. Но такая система в чистом виде может существовать лишь с помощью террора, который угрожает и ее правителям. Как только террор слабеет, начинается долгий процесс дегенерации, в котором государство теряет контроль над определенными важными аспектами жизни общества. Самое существенное – потеря контроля над системой верований. А поскольку социалистический рецепт экономического роста дефектен, государство не может скрыть этот факт от своих граждан и помешать им делать свои заключения.

Более того, немногие из тоталитарных режимов могут выдержать один или несколько кризисов преемственности. В отсутствие общепринятых правил преемственности власти всегда есть искушение для честолюбивых соискателей: поставить под вопрос саму систему, призвав в борьбе с соперниками к фундаментальной реформе. Карта реформ – мощный козырь, поскольку недовольство сталинистской системой повсюду весьма сильно. Так Хрущев разыграл антисталинскую карту против Берии и Маленкова, Горбачев – против своих конкурентов брежневской эпохи, Чжао Цянь – против ортодоксального Ли Пена. Вопрос, являются ли эти лица или группы, рвущиеся к власти, истинными демократами, здесь неважен, важно лишь, что процесс преемственности подрывает основы старого режима, открывая его неизбежные

⁷⁰ *Dokumente zu Hegels Entwicklung* под редакцией J. Hoffmeister (Stuttgart, 1936), p. 352.

злоупотребления. Освобождаются новые социальные и политические силы, более искренне приверженные либеральным идеям, и вскоре эти силы выходят из-под контроля тех, кто изначально планировал ограниченные реформы.

Слабость сильных государств – это значит, что многие бывшие авторитарные страны стали демократическими, в то время как бывшие посттоталитарные страны стали просто авторитарными, если не демократическими. В Советском Союзе власть перешла к союзным республикам, а в Китае, хотя он и остался диктатурой, режим потерял контроль над важными сегментами общественной жизни. Ни в одной из этих стран нет сейчас идеологической последовательности, которую когда-то давал марксизм-ленинизм: консерваторы, сопротивляющиеся реформам в Советском Союзе, готовы повесить на стену хоть православную икону, хоть портрет Ленина. Организаторы неудавшегося августовского путча напоминали латиноамериканскую хунту, где главную роль играют высшие чины армии и полиции.

Параллельно кризису политического авторитаризма происходила менее заметная, но не менее важная революция в экономике. Развитием событий, которое послужило и проявлением этой революции, и ее причиной, был феноменальный экономический рост в Восточной Азии после Второй мировой войны. Эта «история успеха» не ограничилась рано начавшими модернизацию странами, такими как Япония, но в конце концов захватила практически все азиатские страны, пожелавшие принять рыночные принципы и полностью влиться в глобальную, капиталистическую экономическую систему. Успех этого мероприятия дал понять, что бедная страна, не имеющая других ресурсов, кроме трудолюбивого населения, может к своей выгоде воспользоваться открытостью международной экономической системы и создать невообразимое богатство, моментально нагнав развитые капиталистические страны Европы и Северной Америки.

За восточноазиатским экономическим чудом следил весь мир, но внимательнее всего – коммунистический блок. Смертельный кризис коммунизма в некотором смысле начался тогда, когда китайское руководство признало, что отстает от капиталистической Азии, и увидело, что централизованное социалистическое планирование обрекает Китай на отставание и бедность. Последовавшие либеральные реформы привели за пять лет к удвоению производства зерна в Китае и вновь показали мощь рыночных принципов. Вскоре азиатский урок был усвоен и экономикой Советского Союза, на опыте знавшего, какие страшные потери и неэффективность несет с собой центральное планирование. Восточным европейцам этот урок был нужен меньше: они лучше других коммунистических режимов понимали, что невозможность достичь жизненного стандарта собратьев-европейцев на Западе имеет единственную причину: навязанную им после войны социалистическую систему.

Но не только в коммунистическом блоке изучали восточноазиатское экономическое чудо. В экономическом мышлении латиноамериканцев тоже произошла замечательная перемена⁷¹. В пятидесятых годах, когда аргентинский экономист Рауль Пребиш возглавлял Экономический Комитет Организации Объединенных Наций по Латинской Америке, было модно относить недоразвитость не только Латинской Америки, но и всего третьего мира на счет мировой капиталистической системы. Утверждалось, что рано развившиеся страны Европы и Америки по сути выстроили мировую экономику к своей выгоде и обрекли пришедших позже на роль поставщиков сырья. К началу девяностых годов это мнение полностью переменялось: президент Карлос Салинас де Гортари в Мексике, президент Карлос Менем в Аргентине и президент Фернанду Колор ди Меллу в Бразилии – все они стремились после прихода к власти провести кампанию экономической либерализации с дальним прицелом, признавая необходимость рыночной конкуренции и открытости страны по отношению к мировой экономике.

⁷¹ Обзор этой перемены дан, в частности, в статье Sylvia Nasar «Third World Embracing Reforms to Encourage Economic Growth», *New York Times* (July 8, 1991), p. A1.

Чили стала осуществлять либеральные принципы на практике в восьмидесятых годах под правлением Пиночета, а в результате ее экономика оказалась самой здоровой в западной части Южного полушария, когда диктатура сменилась правлением президента Патрисио Алвина. Новые, демократически избранные лидеры стали исходить из допущения, что недоразвитость связана не с внутренними пороками капитализма, а скорее с недостаточной степенью капитализма, имевшегося ранее в стране. Новым лозунгом стали слова «приватизация» и «свободная торговля» вместо «национализация» и «замещение импорта». Марксистская ортодоксия латиноамериканской интеллигенции встретила все усиливающийся вызов от таких писателей, как Эрнандо де Сото, Марио Варгас Льюса и Карлос Ранхель, которые нашли значительную аудиторию, готовую прислушаться к либеральным рыночным экономическим идеям.

Человечество приближается к концу тысячелетия, и кризисы-близнецы авторитаризма и социалистического централизованного планирования оставили на ринге соревнования потенциально универсальных идеологий только одного участника: либеральную демократию, учение о личной свободе и суверенитете народа. Через двести лет после того, как принципы свободы и равенства воодушевили Французскую и Американскую революции, они вновь оказались не просто существующими, но воскресшими⁷².

Но либерализм и демократия, хотя и тесно связаны между собой, – это отдельные понятия. Политический либерализм может быть определен просто: как правление закона, который признает определенные права личности или свободы от правительственного контроля. Определений основных прав множество, но мы выберем то, что содержится в классической книге лорда Брайса о демократии, где их число ограничивается тремя: гражданские права – «освобождение гражданина от контроля в отношении его личности и собственности»; религиозные права – «свобода выражения религиозных взглядов и отправления культов»; и права, которые автор называет политическими – «свобода от контроля в делах, которые не влияют непосредственно на благосостояние общества в целом таким образом, который сделал бы контроль необходимым», – сюда относится и фундаментальное право: свобода печати⁷³. В социалистических странах общей практикой было напирать на признание различных экономических прав второго-третьего порядка, в частности права на труд, на жилье, на медицинское обеспечение. Проблема с таким расширенным списком в том, что выполнение этих прав несовместимо с другими правами, такими как право собственности или свободного экономического обмена. В нашем определении мы будем придерживаться более краткого и более традиционного списка Брайса, который сравним с американским Биллем о правах.

С другой стороны, демократия – это право всех без исключения граждан быть носителями политической власти, то есть право всех граждан избирать, быть избранными и участвовать в политике. Право участвовать в политике может рассматриваться как еще одно либеральное право – разумеется, самое важное, – и по этой причине либерализм и демократия исторически сильно связаны.

В вопросе о том, какие страны считать демократическими, мы будем использовать строго формальное определение демократии. Страна демократическая, если она предоставляет людям право выбирать свое правительство путем регулярных, тайных, многопартийных выборов⁷⁴ на основе всеобщего и равного избирательного права для взрослых⁷⁵. Да, верно, что

⁷² По поводу переосмысления легитимности революционных диктатур, которое произошло за последние десять лет в Латинской Америке, см. Robert Barros, «The Left and Democracies: Recent Debates in Latin America», *Telos* 68 (1986): 49–70. Пример замешательства, в которое события в Восточной Европе повергли левых, см. Andre Gunder Frank, «Revolution in Eastern Europe: Lessons for Democratic Social Movement (and Socialists?)» *Third World Quarterly* 12, No. 2 (April 1990): 36–52.

⁷³ James Bryce, *Modern Democracies*, vol. 1 (New York, Macmillan, 1931), pp. 53–54.

⁷⁴ Принимая поправки Шумпетера к определениям демократии в восемнадцатом веке, мы можем вместе с ним сказать, что демократия есть «свободная конкуренция между кандидатами в лидеры за голоса электората». Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper Brothers, 1950), p. 284. См. также дискуссию об определении демократии у Хантингтона – Samuel Huntington, «Will More Countries Become Democratic?» *Political Science Quarterly* 99, no. 2 (Summer 1984):

формальная демократия сама по себе не гарантирует равное участие и равные права. Демократическими процедурами могут манипулировать элиты, и эти процедуры не всегда верно отражают волю или истинные интересы народа. Но если мы отойдем от формального определения, то откроем дверь бесконечным злоупотреблениям принципами демократии. В нашем веке величайшие противники демократии нападали на «формальную» демократию во имя демократии «по существу». Прикрываясь этими словами, Ленин и партия большевиков разогнали в России Учредительное Собрание и объявили диктатуру партии, которой предстояло создать демократию по существу «во имя народа». С другой стороны, формальная демократия дает настоящие институциональные предохранители от диктатуры, и для нее куда больше вероятность создать в конце концов демократию «по существу».

Хотя в жизни либерализм и демократия почти всегда вместе, в теории их можно разделить. Страна может быть либеральной, не будучи демократической, как Великобритания восемнадцатого века. Широкий набор прав, в том числе право голоса, был полностью предоставлен весьма узкой элите, а прочим в этих правах было отказано. Возможна также страна демократическая, но не либеральная, то есть не защищающая права личностей и меньшинств. Хороший современный пример такой страны – исламская Республика Иран, где проводились регулярные выборы, достаточно честные по стандартам третьего мира, и страна была более демократична, чем под правлением шаха. Но исламский Иран – не либеральное государство. В нем не гарантируется свобода слова, собраний и прежде всего – религии. Самые элементарные права граждан Ирана не защищены законом, и эта ситуация еще хуже для этнических и религиозных меньшинств страны.

В своем экономическом проявлении либерализм – это признание права свободной экономической деятельности и экономического обмена на базе частной собственности и рынков. Поскольку термин «капитализм» за многие годы приобрел слишком много отрицательных коннотаций, стало модно заменять его термином «экономика свободного рынка». И то, и другое – вполне приемлемые обозначения экономического либерализма. Очевидно, что существует много возможных толкований этого достаточно широкого определения: от Соединенных Штатов Рональда Рейгана и Великобритании Маргарет Тэтчер до социалистических демократий Скандинавии и относительно государственных режимов Мексики и Индии. Все современные капиталистические государства имеют большой общественный сектор, в то время как почти все социалистические государства допускают в той или иной степени частную экономическую деятельность. Ведутся споры по поводу того, насколько велик должен стать общественный сектор, чтобы государство перестало считаться либеральным. Но вместо определения точного процента полезнее было бы, наверное, посмотреть на то, как государство относится к *принципу* частной собственности и предпринимательства. Те государства, которые защищают такие экономические права, мы будем считать либеральными, те, которые их оспаривают или основываются на иных принципах (например, «экономическая справедливость»), либеральными считаться не будут.

Теперешний кризис авторитаризма не приводит с необходимостью к возникновению режима либеральной демократии, и сохранность уже возникших демократий тоже не может считаться гарантированной. Новые демократические страны Восточной Европы подвергаются мучительной трансформации своей экономики, а новые демократии Латинской Америки должны иметь дело с ужасным наследием экономических ошибок прошлого. Многие из быстро развивающихся стран Восточной Азии, будучи экономически либеральными, не приняли призыва к либерализации политической. Некоторые регионы, такие как Ближний Восток, остались

pp. 193–218.

⁷⁵ Расширение избирательного права в большинстве демократических стран, включая Англию и Соединенные Штаты, было постепенным процессом; многие современные демократии достигли всеобщего избирательного права достаточно поздно, в двадцатом веке, и все же их можно было назвать демократиями еще до этого. См. Bryce, vol. I (1931), pp. 20–23.

сравнительно не затронутыми либеральной революцией⁷⁶. Вполне возможно представить себе, что такие страны, как Перу или Филиппины, снова вернутся к диктатуре того или иного толка под давлением сокрушительных проблем, которые приходится решать.

Но тот факт, что в процессе демократизации возможны откаты назад и разочарования или что даже нерыночная экономика может добиться процветания, не должен отвлекать нас от более масштабной картины, возникающей в мировой истории. Число возможностей, из которых может выбирать страна, решая, как организовать себя политически и экономически, за последнее время *уменьшилось*. Из всех видов режимов, которые возникали в мировой истории, от монархий и аристократий до теократий, до фашистских и коммунистических режимов нашего столетия, до конца двадцатого века только одна форма дожила неизменной, и это – либеральная демократия.

Короче говоря, победу одержала не столько либеральная практика, сколько либеральная *идея*. Иными словами, для очень большой части нашего мира не существует идеологии с претензией на универсальность, которая могла бы бросить вызов либеральной демократии, и универсального принципа легитимности иного, чем суверенитет народа. К началу столетия монархизм в его различных формах уже потерпел почти полное поражение. Фашизм и коммунизм, главные конкуренты либеральной демократии до нынешних времен, себя дискредитировали. Если демократизация Советского Союза (или его государств-наследников) потерпит крах, если Перу или Филиппины вернутся к авторитаризму, то демократия скорее всего уступит место полковнику или чиновнику, который будет утверждать, что говорит от имени всех россиян, или перуанцев, или филиппинцев. Даже недемократу придется говорить языком демократии, чтобы оправдать свое отклонение от единого универсального стандарта.

Верно, что ислам составляет систематическую и последовательную идеологию, как либерализм и коммунизм, со своим моральным кодексом и доктриной политической и социальной справедливости. Призыв ислама потенциально универсален, он обращается ко всем людям как таковым, а не как к членам конкретной этнической или национальной группы. И ислам несомненно победил либеральную демократию во многих странах исламского мира, создав серьезную угрозу либеральной практике даже в тех странах, где не достиг политической власти непосредственно. Вслед за концом «холодной» войны в Европе немедленно последовал вызов Западу со стороны Ирака, в котором ислам является несомненным фактором⁷⁷.

Но, несмотря на мощь, продемонстрированную исламом в его теперешнем возрождении, остается фактом, что эта религия практически не пользуется авторитетом за пределами стран традиционной исламской культуры. Времена культурных завоеваний ислама, похоже, прошли: он может вернуть на свою сторону отпавших приверженцев, но вряд ли найдет отклик у молодых людей в Берлине, Токио или Москве. И хотя около миллиарда человек – одна пятая населения Земли – принадлежат к исламской культуре, бросить вызов либеральной демократии на ее собственной территории на уровне идей ислам не может⁷⁸. На самом деле в долгосрочной перспективе исламский мир представляется более подверженным влиянию либеральных идей, нежели западный мир – исламским идеям, поскольку за последние полтора столетия либера-

⁷⁶ Вслед за восточноевропейскими революциями 1989 года началось движение за демократизацию в различных странах Ближнего Востока, таких как Египет и Иордания. Но в этом регионе мира сильным барьером на пути демократии оказался ислам. Как показали алжирские муниципальные выборы в 1990 году или на десять лет раньше иранские события, большая степень демократии не обязательно ведет к большей либерализации, поскольку приводит к власти исламских традиционалистов, желающих установить нечто вроде народной теократии.

⁷⁷ Хотя Ирак и исламская страна, партия БААС Саддама Хусейна – откровенно светская арабская националистическая организация. Попытки Хусейна примерить на себя мантию ислама после вторжения в Кувейт были лицемерием в свете его прежних усилий выставить себя защитником секулярных ценностей от исламских фанатиков в Иране во время войны с этой страной.

⁷⁸ Конечно, он может бросить вызов либеральной демократии бомбами и пулями террористов – вызов значительный, но не губительный.

лизм привлек на свою сторону многочисленных и обладающих властью приверженцев ислама. Частичной причиной современного фундаменталистского возрождения ислама является сила той угрозы, которую несут либеральные, западные ценности традиционным исламским обществам.

Мы, живущие в давно установившихся демократиях, оказываемся в необычной ситуации. Во времена наших дедов многие разумные люди предвидели лучезарное социалистическое будущее, в котором нет ни частной собственности, ни капитализма, где как-то изжила себя даже сама политика. Сегодня нам трудно себе представить мир, который лучше нашего, или будущее, не являющееся по сути демократическим или капиталистическим. Конечно, в этих рамках можно улучшить многое: построить дома для бездомных, гарантировать права и возможности для меньшинств и женщин, усовершенствовать конкуренцию и создать новые рабочие места. Мы можем себе представить будущее существенно хуже настоящего, где вернется национальная, расовая или религиозная нетерпимость или где разразится глобальная война или экологический коллапс. Но мы не можем представить себе мир, отличный от нашего *по существу* и в то же самое время – лучше нашего. Другие века, менее склонные к рефлексии, тоже считали себя лучшими, но мы пришли к такому заключению, исчерпав возможности, исследовав альтернативы, которые, как мы чувствовали, *должны были* быть лучше либеральной демократии⁷⁹.

Этот факт и сам широкий размах либеральной революции в современном мире вызывают следующий вопрос: что мы видим – случайный поворот в пользу либеральной демократии или действие долговременной тенденции, которая в конце концов поведет все страны к либеральной демократии?

Ведь вполне возможно, что современный тренд в сторону демократии – явление циклическое. Надо только оглянуться назад, на шестидесятые и начало семидесятых, когда Соединенные Штаты испытывали серьезный кризис самоощущения, вызванный неудачами Вьетнамской войны и Уотергейтским скандалом. Запад в целом был охвачен экономическим кризисом из-за нефтяного эмбарго ОПЕК, почти все латиноамериканские демократии пали жертвами военных переворотов, недемократические и антидемократические режимы процветали во всем мире, от Советского Союза, Кубы и Вьетнама до Саудовской Аравии, Ирана и Южной Африки. Так почему мы должны верить, что не повторится ситуация семидесятых или, того хуже, тридцатых годов с бряцанием тогдашних ядовитых антидемократических идеологий?

Более того, нельзя ли утверждать, что современный кризис авторитаризма – флуктуация, редкое сочетание политических планет, которое в ближайшие несколько сот лет не повторится? Ведь тщательное исследование различных отхождений от авторитаризма в семидесятых и восьмидесятых годах дает достаточно уроков относительно случайной природы этих событий. Чем больше знает человек о конкретной стране, тем ярче видит «водорот случайных черт», отличающих страну от ее соседей, и так же ярко осознает случайные с виду обстоятельства, которые привели к демократическому исходу⁸⁰. Это рассуждение можно применить где угодно: в Португалии в 1975 году могла победить коммунистическая партия, в Испании могла бы не появиться демократия, не сыграв так искусно свою роль Хуан Карлос. У либеральных идей нет другой силы, кроме силы их проводников, и если бы Андропов или Черненко прожили бы подольше или Горбачев оказался бы другим человеком, то ход событий в Советском Союзе

⁷⁹ Предположение, что либеральной демократии нет жизнеспособной альтернативы, высказанное в моей исходной статье «Конец истории?», вызвало множество возмущенных откликов от людей, указывавших на исламский фундаментализм, национализм, фашизм и многие другие возможности. Но никто из этих критиков не считает, что эти альтернативы *выше* либеральной демократии, и во всей совокупности возражений на статью никто, насколько мне известно, не предложил альтернативной формы социальной организации, которую лично считал бы лучше демократии.

⁸⁰ Разнообразные отличия такого сорта указаны в статье Robert M. Fishman, «Rethinking State and Regime: Southern Europe Transition to Democracy», *World Politics* 42, no. 3 (April 1990): 422–440.

и Восточной Европе между 1985 и 1991 годами мог быть иным. Возникает соблазн заявить, следуя современной моде общественных наук, что в процессе демократизации доминируют непредсказуемые факторы, такие как личность лидеров и общественное мнение, и потому каждый случай является уникальным как в смысле процесса, так и в смысле исхода.

Но точнее было бы рассматривать не только последние пятнадцать лет, но *целый исторический период*. Тогда мы увидим, что либеральная демократия начинает занимать особое место. В мировой судьбе демократии имелись циклы, но заметен также отчетливый вековой тренд в демократическом направлении. Таблица на стр. 88–90 иллюстрирует эту закономерность. Из нее видно, что рост демократии не был непрерывным или однонаправленным: в Латинской Америке демократий в 1975 году было меньше, чем в 1955 году, а мир в целом в 1919 году был более демократичен, чем в 1940 году. Периоды подъема демократии прерывались радикальными спадами и отступлениями, подобными нацизму и сталинизму. С другой стороны, все эти откаты назад в конце концов сами обращались вспять, приводя к внушительному росту числа демократий в мире. Более того, процент мирового населения, живущего при демократическом правлении, резко вырастет, если в следующем поколении демократизируются Советский Союз и Китай, полностью или частично. Не приходится сомневаться, что рост либеральной демократии вместе с ее спутником, экономическим либерализмом, является самым удивительным политическим феноменом последних четырехсот лет.

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТИИ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ⁸¹.

⁸¹ Эта таблица с некоторыми модификациями основана на таблице, приведенной в работе Michael Doyl, «Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs», *Philosophy and Public Affairs* (Summer 1983a): 205–235. Условия Дойла, при которых страну можно считать либеральной демократией, включают рыночную экономику, представительное правление, внешнеполитический суверенитет и юридические права. Исключаются страны с населением меньше миллиона. Включение многих из этих государств в список либеральных демократий может, вполне вероятно, оказаться непоследовательным. Например, Болгария, Колумбия, Эль-Сальвадор, Никарагуа, Мексика, Перу, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка и Турция исследовательской корпорацией Freedom House названы лишь «частично свободными» – или из-за сомнения в честности последних выборов, или из-за неспособности государства защищать права отдельных людей. Был и обратный ход: Таиланд перестал быть демократией с 1990 года. С другой стороны, многие государства, не вошедшие в список, стали с 1991 года демократиями или решили в ближайшем будущем провести свободные выборы. См. обзор «дома свободы» *Freedom at Issue* (January-February 1990).

	1790	1848	1900	1919	1940	1960	1975	1990
Соединенные Штаты	X	X	X	X	X	X	X	X
Канада			X	X	X	X	X	X
Швейцария	X	X	X	X	X	X	X	X
Великобритания		X	X	X	X	X	X	X
Франция	X		X	X		X	X	X
Бельгия		X	X	X		X	X	X
Нидерланды		X	X	X		X	X	X
Дания			X	X		X	X	X
Пьемонт/ Италия			X	X		X	X	X
Испания								X
Португалия								X
Швеция			X	X	X	X	X	X
Норвегия				X		X	X	X
Греция			X			X		X
Австрия				X		X	X	X
Германия, Запад				X		X	X	X
Германия, Восток				X				X
Польша				X				X
Чехословакия				X				X
Венгрия								X
Болгария								X
Румыния								X
Турция						X	X	X
Латвия								X
Литва								X
Эстония				X				X

Финляндия				X	X	X	X	X
Ирландия					X	X	X	X
Австралия				X	X	X	X	X
Новая Зеландия			X	X	X	X	X	X
Чили			X	X		X		X
Аргентина			X	X				X
Бразилия						X		X
Уругвай				X	X	X		X
Парагвай								X
Мексика					X	X	X	X
Колумбия				X	X	X	X	X
Коста Рика				X	X	X	X	X
Боливия						X		X
Венесуэла						X	X	X
Перу						X		X
Эквадор						X		X
Сальвадор						X		X
Никарагуа								X
Гондурас								X
Ямайка							X	X
Доминиканская Республика								X
Тринидад							X	X
Япония						X	X	X
Индия						X	X	X
Шри-Ланка						X	X	X
Сингапур							X	X

Южная Корея									X
Таиланд									X
Филиппины							X		X
Маврикий									X
Сенегал								X	X
Ботсвана									X
Намбия									X
Папуа — Новая Гвинея									X
Израиль							X	X	X
Ливан							X		
Сумма:	3	5	13	25	13	36	30		61

Действительно, демократии в истории человечества встречались относительно редко, настолько редко, что до 1776 года не было ни одной во всем мире. (Демократия Афин при Перикле не считается, поскольку она не обеспечивала систематическую защиту прав личности⁸².) Но если считать по годам существования, то промышленное производство, автомобили и миллионные города тоже встречаются редко, а такие явления, как рабство, наследственная монархия и династические браки, существовали колоссально долго. Существенна не частота встречаемости и не время существования, но тренд: в развитом мире так же мало приходится ожидать в ближайшем будущем исчезновения городов или машин, как и возвращения рабства.

Исходя из этой общей картины, можно сказать, что явно всемирный характер современной либеральной революции имеет особое значение, поскольку он является еще одним свидетельством того, что действует фундаментальный процесс, диктующий общую эволюционную закономерность для *всех* человеческих обществ, — короче говоря, существует некоторая Универсальная История, ведущая в сторону либеральной демократии. Существование на этом пути пиков и провалов неопровержимо. Но видеть в поражении либеральной демократии в любой конкретной стране или в целом регионе свидетельство общей слабости демократии — это признак серьезной зашоренности взгляда. Циклы и разрывы сами по себе не противоречат истории как универсальному и направленному процессу, точно так же, как существование экономических циклов не опровергает возможность долговременного экономического роста.

Не менее увеличения числа либеральных демократий поражает факт, что демократическое правление вырвалось со своего первоначального плацдарма в Западной Европе и Северной Америке и глубоко продвинулось в другие части света, отличные от названных политическими, культурными и религиозными традициями. Когда-то утверждалось, что существует четкая иберийская традиция: «авторитарная, родовая, католическая, классовая, корпоративная и полуфеодалная до самых корней»⁸³. Тащить Испанию, Португалию или страны Латинской Америки к стандартам Западной Европы или Соединенных Штатов — означало быть повинным в «этноцентризме»⁸⁴. Но этих же универсальных стандартов придерживались *сами* люди иберийской традиции, и с середины семидесятых годов Испания и Португалия перешли в разряд стабильных демократий, все теснее связанных с экономически объединяющейся Европой. Те же стандарты обрели значение для народов Латинской Америки, Восточной Европы, Азии и многих еще частей света. Успех демократии в самых разных местах и среди многих разных народов заставляет предположить, что принципы свободы и равенства, на которых демократия строится, не случайность и не результат этнических предрассудков, но фактические

⁸² Афинская демократия могла казнить своего самого знаменитого гражданина, Сократа, фактически за то, что он пользовался правом на свободу слова и развращал молодежь.

⁸³ Howard Wiarda, «Toward a Framework for Study of Political Change in Iberio-Latin Tradition», *World Politics* 25 (January 1973): 106–135.

⁸⁴ Howard Wiarda, «The Ethnocentrism of Social Science (*sic*): Implications for Research and Policy», *Review of Politics* 43, no. 2 (April 1981): 163–197.

открытия относительно природы человека как человека, истинность которых не убывает, но становится тем очевиднее, чем космополитичнее точка зрения наблюдателя.

Вопрос о том, существует ли Универсальная История человечества, учитывающая опыт всех времен и народов, не нов. На самом деле это очень старый вопрос, который недавние события заставляют поставить снова. С самого начала в самых серьезных и систематических попытках написать Универсальную Историю центральным вопросом истории считалось развитие Свободы. История – не слепая цепь событий, а осмысленное целое, в котором развиваются и разыгрывают свою роль гуманные идеи человека о природе или справедливом политическом и общественном порядке. И если сейчас мы переживаем такой момент, когда нам трудно представить себе мир, существенно отличный от нашего, где нет очевидного или естественного пути, на котором будущее даст фундаментальное улучшение существующего сейчас порядка, то мы должны допустить возможность, что сама по себе История могла подойти к концу.

В части второй мы рассмотрим вопрос, не стоит ли в конце двадцатого века избавиться от нажитого пессимизма и снова задуматься, возможно ли написать Универсальную Историю человечества.

Часть вторая Старость человечества

Глава 5 Идея для Универсальной Истории

Так далеко никогда историческое созерцание еще не заносилось, даже и тогда, когда оно видело сны; ибо теперь история человечества есть только продолжение истории животного и растительного царства; даже на дне морском исторический универсалитет ухитряется находить свои следы в виде живой слизи. Если мы удивляемся пути, пройденному уже человеком, как некоему чуду, то взор наш останавливается с головокружительным изумлением, как на еще более поразительном чуде, на современном человеке, который достиг того, что может мысленно проследить весь этот путь.

Он гордо стоит на вершине пирамиды мирового процесса, закладывая последний замковый камень своего познания, он как бы хочет крикнуть прислушивающейся к его словам Природе: «Мы у цели, мы – сама цель, мы – венец Природы!»

Ницше, «О пользе и вреде истории»⁸⁵

Универсальная История человечества – это не то же самое, что история универсума. Это не энциклопедический каталог всего, что известно о человечестве, а попытка найти осмысленную общую закономерность в развитии человеческих обществ в целом⁸⁶. Само по себе стремление написать Универсальную Историю не универсально для всех народов и культур. Несмотря на то что западные философские и исторические традиции зародились в Греции, писатели древней Эллады никогда такой целью не задавались. Платон в «Республике» говорит об определенном естественном цикле режимов, Аристотель в «Политике» обсуждает причины революций и почему один режим сменяется другим⁸⁷. Он считал, что ни один режим не может полностью устроить человека, и недовольство ведет людей к замене одного режима другим в бесконечном цикле. Демократия в этой последовательности не занимает особого места, ни в смысле ее благости, ни в смысле стабильности; на самом деле оба автора полагали, что демократия имеет тенденцию сменяться тиранией. Более того, Аристотель не предполагал непрерывности истории. То есть он считал, что цикл смены режимов вложен в больший естественный цикл, в котором катаклизмы вроде потопа периодически уничтожают не только существующие общества людей, но и самую память о них, и люди снова начинают исторический процесс с самого начала⁸⁸. С греческой точки зрения история не секулярна, а циклична.

Первыми поистине Универсальными Историками западной традиции оказались христиане⁸⁹. До них существовали греческие и римские попытки писать историю известного мира, но именно христианство впервые ввело понятия равенства всех людей перед Богом и тем самым

⁸⁵ Ницше Ф. Соч. в двух томах. Т. 1. М., 1990. С. 213.

⁸⁶ Геродот, так называемый «отец истории», фактически написал такое энциклопедическое исследование по греческим и варварским обществам, но практически без какой-либо связующей общей нити, очевидной не эзотерическому читателю.

⁸⁷ См. «Государство», книга VII, и «Политика», книга VIII.

⁸⁸ По этому вопросу см. Leo Strauss, *Thoughts on Machiavelli* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1958), p. 299.

⁸⁹ О двух весьма различных точках зрения на прошлые попытки написать Универсальную Историю см. J.V. Bury, *The Idea of Progress* (New York: Macmillan, 1932) и Robert Nisbet, *Social Change and History* (Oxford: Oxford University Press, 1969).

– общей судьбы всех народов мира. Христианский историк, подобный св. Августину, не интересовался конкретной историей греков или евреев как таковых; для него было важно искупление человека как человека, событие, устанавливающее действие воли Божией на Земле. Все нации – всего лишь ветви одного человечества, и судьба его может быть понята в терминах плана Бога относительно человека. Более того, христианство ввело понятие истории, ограниченной во времени, начинающейся с сотворения человека Богом и кончающейся его окончательным спасением⁹⁰. Для христиан конец земной истории будет отмечен Судным днем, который установит Царствие небесное, и тогда Земля и земные события перестанут существовать в буквальном смысле. Как ясно показывает христианский взгляд на историю, «конец истории» неявно следует из всех писаний всех Универсальных Историй. Конкретное историческое событие может приобрести значение лишь по отношению к некоему большему событию или цели, достижение которой с необходимостью влечет за собой прекращение исторического процесса. Окончательный финал человеческой истории – именно он придает потенциальный смысл всем частным событиям.

Оживление интереса к древним временам, имевшее место в эпоху Ренессанса, обеспечило мысли тот исторический горизонт, которого не хватало самим древним. Несколько авторов того периода, включая Паскаля⁹¹, предложили сравнивать историю с жизнью человека и выдвинули идею, что современный им человек, владеющий достижениями древних, живет в период «старости человечества». Однако самые важные из ранних попыток написать секулярную версию Универсальной Истории были предприняты в связи с выработкой в шестнадцатом веке научного метода. Мы этот метод связываем с именами Галилея, Бэкона и Декарта, предположивших возможность познания и в силу этого покорения природы, которая должна подчиняться набору взаимосвязанных и универсальных законов. Знание этих законов не только доступно человеку как таковому, но и может накапливаться, так что следующие поколения могут быть избавлены от трудов и ошибок предыдущих. Современное понятие прогресса было порождено успехами естественных наук, и Фрэнсис Бэкон утверждал превосходство современности над древностью, опираясь на такие изобретения, как компас, книгопечатание и порох. Наиболее выпукло сформулировал понятие прогресса как накопления и бесконечного приобретения знаний Бернар Ле Бувьё де Фонтенель в 1688 году:

«Хорошо образованный ум содержит в себе, так сказать, все умы предыдущих столетий, это есть единый идентичный ум, который вырабатывался и улучшался постоянно... но я вынужден сознаться, что рассматриваемый человек не будет иметь старости, он будет всегда способен на то, что соответствует его юности, и будет все более способен на то, что соответствует его расцвету; если оставить аллеорию, то можно сказать, что человек никогда не вырождается, и не будет конца росту и развитию мудрости человеческой»⁹².

Прогресс, который предвидел Фонтенель, относится главным образом к области научных знаний; автор не разрабатывал теории социального или политического прогресса. Отцом современного понятия о социальном прогрессе был Макиавелли, потому что это он предложил освободить политику от моральных ограничений классической философии, и он сказал, что человек должен подчинить себе фортуна. Другие теории прогресса были выдвинуты авторами

⁹⁰ Современная практика нумерации годов до и после Рождества Христова, принятая теперь и многими нехристианскими странами, начинается с работы одного из таких христианских историков седьмого века, Исидора Севильского. См. R.G. Collingwood, *The Idea of History* (New York: Oxford University Press, 1956), pp. 49, 51.

⁹¹ Среди других попыток написания универсальной истории в начале нового времени можно назвать Jean Bodin, Louis de Roy, *De la vicissitude ou variété des choses en l'univers*, веком позже – Bossuet, *Discours sur l'histoire universelle* (Paris, F. Didot, 1852). См. Bury, pp. 37–47.

⁹² Цитируется в Nisbet (1969), p. 104. См. также Bury (1932), p. 104–111.

эпохи Просвещения, такими как Вольтер, французские энциклопедисты, экономист Тюрго и его друг и биограф Кондорсе. Работа Кондорсе «Прогресс человеческого ума» содержит описание десяти стадий Универсальной Истории человека, последняя эра которой – ее еще предстоит достигнуть – характеризуется равенством возможностей, свободой, рациональностью, демократией и всеобщей образованностью⁹³. Подобно Фонтенелю, Кондорсе не ставил границ способности человека к совершенствованию, неявно предполагая возможность одиннадцатой стадии, современному человеку неизвестной.

Наиболее серьезные попытки написания Универсальной Истории были предприняты в традиции немецкого идеализма. Идея была предложена великим Иммануилом Кантом в эссе 1784 года «Идея Универсальной Истории с космополитической точки зрения». Эта работа, содержащая всего шестнадцать страниц, определила основные направления для всех последующих попыток написания Универсальной Истории⁹⁴.

Кант полностью отдавал себе отчет, что «идиотическое течение всего человеческого» не имеет никакой видимой закономерности и что человеческая история кажется непрерывной цепью войн и жестокостей. И все же он ставил вопрос, нет ли в истории человечества некоего регулярного движения, такого, которое кажется хаотическим с точки зрения индивида, но в котором можно обнаружить медленную и прогрессивную долговременную тенденцию. Это было верно, в частности, в истории развития человеческого разума. Например, ни один индивид не мог бы открыть всю математику, но накопительный характер математического знания позволял каждому новому поколению строить новое на фундаменте достижений предыдущих⁹⁵.

Кант предположил, что история имеет конечный пункт, то есть конечную цель, предполагаемую современными возможностями человека, которая придает смысл всей истории. В качестве такого конечного пункта он рассматривал осуществление человеческой свободы, поскольку «общество, в котором свобода под внешними законами в высочайшей степени ассоциируется с неодолимой силой, то есть с совершенно справедливым гражданским устройством, есть самая главная проблема, поставленная Природой перед родом человеческим».

Достижение такого справедливого гражданского устройства и его универсализация на весь мир являются поэтому критерием, по которому понимается прогресс в истории. Этот критерий также дает стандарт, пользуясь которым, можно предпринять титаническую работу по абстрагированию, необходимую для отделения существенного в этой эволюции от массы случайных фактов и событий, составляющих сырой материал истории. Тогда вопросом, на который должна ответить Универсальная История, становится такой: рассматривая все времена и все общественные устройства, можно ли сказать, что существует всеобъемлющая причина ожидать общего движения человечества в сторону республиканского правления – то есть того, что мы сейчас называем либеральной демократией?⁹⁶

Кант также дал в общих чертах набросок механизма, который будет двигать человечество к более высокому уровню рациональности, представляемому либеральными институтами. Этот механизм – не разум, а его противоположность: эгоистический антагонизм, созданный человеческой «асоциальной социальностью», которая заставляет людей оставлять войну всех против всех и соединяться в гражданские общества, потом поощряет искусства и науки, позволяющие этим обществам быть конкурентоспособными в борьбе друг с другом. Именно соревновательность и тщеславие человека, его желание господствовать и править будут источ-

⁹³ См. Nisbet (1969), p. 120–121.

⁹⁴ Обсуждение эссе Канта см. Collingwood, pp. 98–103, и William Galston, *Kant and the Problem of History* (Chicago: University of Chicago Press, 1875), особенно стр. 205–268.

⁹⁵ «Идея всеобщей Истории с космополитической точки зрения», в издании: Kant I. On history. Indianapolis, 1963. P. 11–13.

⁹⁶ Там же, стр. 16.

ником социального творчества, гарантирующим реализацию потенциала «будущих поколений аркадской пастушеской жизни».

Само по себе эссе Канта еще не давало модели Универсальной Истории. Написанная, когда философу было шестьдесят лет, «Идея» лишь указывала на необходимость нового Кеплера или Ньютона, который мог бы объяснить универсальные законы исторической эволюции человека. Кант замечал, что гений, который предпринял бы такую работу, должен быть и философом, чтобы понимать, что важно в делах человеческих, и историком, который может соединить историю всех времен и народов в осмысленное целое. Он должен будет проследить «влияние греческой истории на создание и распад римского государства, которое поглотило греков, потом римское влияние на варваров, разрушивших, в свою очередь, Рим, и так далее, до наших времен; если свести вместе эпизоды из историй просвещенных народов, можно обнаружить регулярный прогресс в создании государств нашего континента (что, вероятно, даст в конце концов закон, применимый и ко всем остальным)». Это история последовательных разрушений цивилизаций, но каждый катаклизм сохранял что-то от предшествующего периода и тем готовил путь жизни более высокого уровня. Задача написания такой истории, скромно заключал Кант, выходит за рамки его возможностей, но если она будет решена, то внесет свой вклад в достижение повсеместного республиканского правления, дав человеку ясное видение его будущего⁹⁷.

Кантовский проект написания Универсальной Истории, одновременно философски серьезной и основанной на владении эмпирической историей, остался для завершения после смерти философа его наследнику в следующем поколении, Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю. Гегель никогда не пользовался хорошей репутацией в англосаксонском мире, где его называли реакционным апологетом прусской монархии, предтечей тоталитаризма двадцатого века и, что с англоязычной точки зрения всего хуже, трудным в чтении метафизиком⁹⁸. Эта предубежденность к Гегелю не позволяла видеть его важную роль как одного из основателей современной философии. Хотим мы признать этот долг или нет, но Гегелю мы обязаны самыми фундаментальными аспектами сегодняшнего нашего общественного сознания.

Примечательно, насколько система Гегеля исполнила все конкретные предложения Канта по Универсальной Истории, как по форме, так и по существу⁹⁹. Подобно Канту, Гегель назвал свой проект написанием всеобщей Истории, которая покажет «проявление Духа [то есть коллективного человеческого сознания] в процессе познания того, чем Дух является потенциально»¹⁰⁰. Гегель пытался показать «добро», содержащееся в различных реальных государствах и цивилизациях истории, причины, по которым они в конце концов рухнули, и «зачатки просвещения», переживавшие каждый катаклизм и тем самым мостящие путь высшим уров-

⁹⁷ Кант, «Идея» (1963), стр. 23–26.

⁹⁸ Поверхностно-неправильных прочтений Гегеля в эмпиристической или позитивистской традиции – миллионы. Например: «Но что касается Гегеля, я даже не считаю его талантливым. Он совершенно неудобоваримый автор. Как даже его самые страстные апологеты должны признать, стиль его «безусловно скандален». И что касается содержания его работ, превосходны они только в одном: в выдающемся отсутствии оригинальности... Заимствованные идеи и методы он с завидной целеустремленностью, хотя без малейших признаков блеска, направил на одно: сражаться против открытого общества и тем служить своему хозяину, Фридриху-Вильгельму Прусскому... Вся эта история с Гегелем не стоила бы даже упоминания, если бы не ее пагубные последствия, показывающие, как легко шут может оказаться «творцом истории»» (Карл Поппер, «Открытое общество и его враги»). «Из его метафизики следует, что истинная свобода состоит в повиновении произвольному авторитету, что свобода слова – зло, что абсолютная монархия – добро, что прусское государство есть лучшее из существующих на время написания его работ, что война есть добро, а любая международная организация ради мирного урегулирования споров была бы несчастьем» (Бертран Рассел, «Непопулярные статьи»). Традицию отрицания за Гегелем либерализма продолжает Пол Херст (Paul Hirst): «Ни один внимательный читатель «Философии права» Гегеля не может принять автора за либерала. Политическая теория Гегеля – это точка зрения прусского консерватора, который считает, что политические реформы после поражения под Иеной уже достаточно далеко продвинулись. («Endism», *London Review of Books* [November 23, 1989])

⁹⁹ Это утверждение можно найти у Галстона (Galston, 1975), p. 261.

¹⁰⁰ Эта цитата взята из записи лекций Гегеля по истории, которая дошла до нас как «Философия истории»; см.: Hegel Y.W.F. *The Philosophy of History*. N 4., 1956. P. 17–18.

ням развития. Подобно Канту с его видением «антиобщественной общественности» человека, Гегель видел причины прогресса в истории *не* в постепенном развитии разума, но в слепой игре страстей, которые ведут людей к конфликту, революции и войне – его знаменитая «хитрость разума». История движется вперед в непрерывном процессе конфликта, в котором системы мышления, как и политические системы, сталкиваются и разваливаются из-за собственных внутренних противоречий. Тогда они заменяются системами менее противоречивыми и более высокого уровня, и те порождают новые и различные противоречия – так называемая диалектика. Гегель был одним из первых европейских философов, кто принял всерьез «историю других народов» вне Европы, например Индии и Китая, и включил ее в свои построения. И, как постулировал Кант, существовал конечный пункт исторического процесса, и этот пункт – осуществление свободы на Земле: «История мира есть не что иное, как прогресс осознания Свободы». Ход Универсальной Истории мог быть понят как рост равенства людской свободы, сформулированный в сентенции Гегеля: «Восточные народы знали, что *один* свободен; греки и римляне – что только *некоторые* свободны; в то время как мы знаем, что все люди абсолютно (человек как таковой) свободны»¹⁰¹. Для Гегеля воплощением человеческой свободы было современное конституционное государство, или, опять же, то, что мы назвали либеральной демократией. Универсальная История человечества есть не что иное, как прогрессивное восхождение к полной разумности, к ясному осознанию того, как эта разумность выражается в либеральном самоуправлении.

Гегеля часто обвиняют в обожествлении государства и власти, а потому объявляют врагом либерализма и демократии. Полное рассмотрение подобных обвинений выходит за рамки настоящей работы¹⁰². Здесь достаточно будет сказать, что Гегель сам себя считал философом *свободы*, который кульминацию всего исторического процесса видит в реализации свободы посредством конкретных политических и общественных институтов. С тем же успехом Гегеля можно считать не поборником государства, а защитником гражданского общества, то есть философом, который защищает независимость огромного царства частной экономики и политической деятельности от контроля государства. По крайней мере именно так понимал его Маркс и нападал на Гегеля как на апологета буржуазии.

Относительно диалектики Гегеля существует серьезное непонимание. Оно началось с мнения соратника Маркса Фридриха Энгельса, считавшего, что диалектика – «метод», который можно взять у Гегеля отдельно от содержания его системы. Другие утверждали, что для Гегеля диалектика есть метафизическое средство, с помощью которого можно вывести историю человечества в целом из априорных, или логических, исходных принципов, независимо от эмпирических данных и знания реальных исторических событий. Такая точка зрения несостоятельна: чтение исторических работ Гегеля показывает, что в них важная роль отводится исторической случайности и игре совпадений¹⁰³. Диалектика Гегеля подобна диалогу Сократа, его

¹⁰¹ Ibid. P.19.

¹⁰² Хорошие коррективы к обычным взглядам на Гегеля как на авторитариста можно найти у Shlomo Avineri, *Hegel's Theory of Modern State* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), и Stephen B. Smith, «What is Right in Hegel's Philosophy of Right?», *American Political Science Review* 83, no. 1 (1989a) 3–18. Вот несколько примеров, как неправильно понимали Гегеля: хотя он действительно поддерживает монархию, его концепция монархии в абзацах 275–286 «Философии права» близка к современному пониманию сути главы государства и вполне совместима с существующими в настоящее время конституционными монархиями – пониманию, очень далекому от оправдания прусской монархии его дней. Гегеля можно прочесть как эзотерическую критику ее практики. Верно, что Гегель был противником свободных выборов и ратовал за сословную организацию общества. Но это не было связано с возражениями против принципа народного суверенитета как такового. Корпоративизм Гегеля можно считать сравнимым с «искусством объединения» Токвиля: в большом современном государстве участие в политике должно быть опосредовано рядом более мелких организаций и ассоциаций, иначе оно будет бессмысленно и бесполезно. Членство в сословии зависит не от рождения, но от рода занятий, и открыто для всех. Насчет приписываемого Гегелю прославления войны см. часть пятую данной книги.

¹⁰³ Прочтение Гегеля, подчеркивающее недетерминистские аспекты его системы, см. Terry Pinkard, *Hegel's Dialectic: The Expansion of Possibility* (Philadelphia: Temple University Press, 1988).

платоновского предшественника, то есть разговору двух людей о важном предмете, например, природе добра или смысле справедливости. Такие дискуссии разрешались на основе принципа противоречия: то есть выигрывает сторона, менее себе противоречащая, или если в процессе разговора выясняется, что обе стороны противоречат сами себе, то из двух исходных позиций возникает непротиворечивая третья. Однако эта третья позиция может сама содержать новые, непредвиденные противоречия, кладя тем самым начало новому диалогу и новому разрешению. По Гегелю, диалектика имеет место не только на уровне философских дискуссий, но и между обществами, или, пользуясь терминами современной науки, между социоэкономическими системами. Историю можно описать как диалог между обществами, в которых стороны с серьезными внутренними противоречиями терпят поражение и сменяются другими, сумевшими эти противоречия преодолеть. Таким образом, по Гегелю Римская империя в конечном счете погибла потому, что установила универсальное равенство всех людей перед законом, но без признания их прав и внутреннего человеческого достоинства. Такое признание удалось найти лишь в иудео-христианской традиции, которая установила универсальное равенство всех людей на основе их моральной свободы¹⁰⁴. Христианский же мир, в свою очередь, оказался объектом иных противоречий. Классическим примером может служить средневековый город, защищавший своих купцов и торговцев, составлявших зародыш капиталистического экономического строя. Их экономическая эффективность в конце концов обнажила иррациональность моральных ограничений экономической производительности и тем упразднила тот самый город, который их породил.

Чем Гегель наиболее существенно отличается от ранних создателей Универсальной Истории вроде Фонтенеля и Кондорсе, это своим намного более глубоким философским обоснованием таких концепций, как природа, свобода, история, истина и разум. Пусть Гегель и не был первым философом, писавшим об истории, он был первым *философом истории*, то есть философом, который верил в историческую относительность сущности истины¹⁰⁵. Гегель утверждал, что все человеческое сознание ограничено конкретными социальными и культурными условиями окружающей человека среды, или, как мы говорим, «его временем». Мысли прошедших времен, принадлежат они обычным людям или же великим философам и ученым, являются истинными не абсолютно или «объективно», но лишь относительно того исторического или культурного горизонта, в котором жил их автор. Поэтому человеческая история должна рассматриваться не только как преемственность различных цивилизаций и уровней материальных достижений, но, что важнее, как преемственность различных форм сознания. Сознание – способ мышления людей о фундаментальных вопросах добра и зла, виды деятельности, которые считаются приемлемыми, системы религиозных верований, даже способы восприятия мира – со временем меняется коренным образом. А поскольку меняющиеся точки зрения взаимно противоречивы, отсюда следует, что огромное большинство их были неверными, то есть являлись формами «ложного сознания», что обнаруживается последующей историей. Величайшие религии мира, согласно Гегелю, не были истиной в себе, но являлись *идеологиями*, возникавшими из конкретных исторических потребностей людей, в них веривших. Христианство, в частности, явилось идеологией, выросшей из рабства, и объявленное им равенство людей служило интересам рабов в борьбе за свое освобождение.

Сегодня трудно оценить радикальную природу гегелевского историзма, поскольку он давно стал элементом нашего интеллектуального кругозора. Мы предполагаем, что есть «исторический перспективизм» для мышления, и разделяем общее предубеждение против образа

¹⁰⁴ Hegel (1956). P. 318–323

¹⁰⁵ «Историцизм» в этом смысле следует отличать от использования этого термина Карлом Поппером в «Нищете историзма» и других работах. Со своим обычным отсутствием проницательности Поппер идентифицирует историзм как претензию на умение предсказывать будущее по историческому прошлому, и в этом смысле такой философ, как Платон, верящий в существование неменяющихся глубинных основ человеческой природы, оказывается таким же «истористом», как Гегель.

мыслей, который «несовременен». Неявный историзм можно найти в позиции современной феминистки, которая считает преданность семье и дому своей матери или бабушки забавным пережитком прошлого. Насколько для этой предшественницы добровольное подчинение культуре с мужским доминированием было правильным «для своего времени» и, быть может, даже делало ее счастливой, настолько же сейчас оно неприемлемо и представляет собой форму «ложного сознания». Неявный историзм есть и в позиции чернокожего, который утверждает, что белый даже понять не может, что значит *быть* черным. Потому что, хотя сознания белого и чернокожего не обязательно разделены историческим временем, их продолжает разделять кругозор культуры и опыта, в которых воспитан каждый из них и которые допускают лишь весьма ограниченное общение.

Радикальность гегелевского историзма очевидно проявляется в самой его концепции человека. За одним важным исключением почти каждый философ, писавший до Гегеля, считал, что есть такая вещь, которая называется «человеческая природа», то есть более или менее постоянный набор свойств: страсти, желания, способности, добродетели и так далее, характеризующие человека как такового¹⁰⁶. Отдельные люди могут заметно отличаться друг от друга, но суть человеческой природы со временем не меняется, будь то китайский крестьянин или современный европейский профсоюзный деятель. Этот философский взгляд отражал общепринятый штамп, что «человеческая природа неизменна», обычно применявшийся в контексте с какой-нибудь наименее привлекательной человеческой чертой – жадностью, похотью или жестокостью. Гегель же, не отрицая, что у человека есть природная сторона, возникающая из таких потребностей тела, как пища или сон, считал, что в наиболее своих существенных чертах человек *не детерминирован* и потому свободен формировать свою собственную природу¹⁰⁷.

Таким образом, по Гегелю, природа желаний человека не является данностью на все времена, но меняется от периода к периоду и от культуры к культуре¹⁰⁸. Например, обитатель современной Америки, Франции или Японии большую часть своей энергии тратит на погоню за вещами – автомобиль определенного типа, спортивная обувь, модельное платье – или за статусом: правильный район проживания, или школа, или работа. Почти все эти объекты желания даже не существовали в более ранние времена и вряд ли стали бы предметом желания жителя нищей страны третьего мира, который свое время тратит на удовлетворение более базовых потребностей, таких как жилье или еда. Консюмеризм и наука маркетинга, которая его обслуживает, обращаются к желаниям, в буквальном смысле *созданным* самим человеком, желаниям, которые в будущем сменятся другими¹⁰⁹. Наши теперешние желания созданы нашим социальным окружением, а оно, в свою очередь, есть целиком продукт нашего исторического прошлого. И конкретные предметы желания – это только один аспект «человеческой природы», изменившийся со временем; развилась также важность желания по сравнению с другими элементами человеческого характера. Поэтому Универсальная История Гегеля учитывает не только прогресс знания и институтов, но и изменение самой природы человека, поскольку в природе человека *не имеет* фиксированной природы, *не быть*, но *становиться* чем-то другим по отношению к тому, чем он был.

¹⁰⁶ Это исключение составлял Руссо, у которого во «Втором дискурсе» представлено историческое описание человека, природа желаний которого со временем меняется в корне.

¹⁰⁷ Это означает среди прочего, что люди не полностью подчиняются законам физики, управляющим всей остальной природой. Сейчас, наоборот, большинство современных общественных наук строятся на предположении, что изучение человека может быть встроено в изучение природы, поскольку суть человека не отличается от сути природы. Быть может, это допущение и является причиной того, что социальная наука не может утвердить себя как широко признанная «наука».

¹⁰⁸ См. рассуждения Гегеля об изменчивой природе желаний в абзацах 190–195 «Философии права».

¹⁰⁹ Гегель о консюмеризме: «То, что англичане называют «комфортом», есть нечто неистощимое и неограниченное. [Другие могут открыть, что то, что вы считаете] комфортом, на самом деле есть дискомфорт, и эти открытия никогда не кончатся. Поэтому необходимость еще большего комфорта не возникает непосредственно в вас, она *предлагается вам теми, кто надеется получить выгоду от его создания*». Курсив наш. «Философия права», добавление к параграфу 191.

В чем Гегель отличается от Фонтенеля и от большинства радикальных историков, пришедших после него, – это в том, что он не верил, будто исторический процесс будет продолжаться бесконечно, а считал, что этот процесс придет к концу с установлением свободных обществ в реальном мире. Это будет, говоря другими словами, *конец истории*. Конечно, здесь не имеется в виду, что прекратится поток событий, связанных с рожденьями, смертями, общественной деятельностью человечества, или что будет достигнут предел фактических знаний о мире. Но Гегель определял историю как прогрессивное движение человека к более высоким уровням разума и свободы, и этот процесс имеет логический конечный пункт в достижении абсолютного самосознания. Это самосознание, считал Гегель, содержится в его философской системе, как человеческая свобода заключается в либеральном государстве, возникшем после Французской революции в Европе и после Американской революции в Северной Америке. Когда Гегель объявил, что история закончилась после битвы под Иеной в 1806 году, он явно не имел в виду, что либеральное государство победило во всем мире; в тот момент его победа была не очевидна даже в этом уголке Германии. Это следовало понимать так, что принципы свободы и равенства, лежащие в основе современного ему либерального государства, были открыты и реализованы в большинстве развитых стран и что нет альтернативных принципов или форм социальной или политической организации, высших, чем либерализм. Иными словами, либеральные общества свободны от «противоречий», характеризующих более ранние формы организации общества, и поэтому приведут к концу диалектику истории.

Еще когда Гегель только сформулировал свою систему, люди не были настроены принимать всерьез его заявление, что история заканчивается на современном либеральном государстве. Почти сразу же Гегель подвергся атаке со стороны другого великого писателя Универсальной Истории – Карла Маркса. Мы, в частности, потому не осознаем свой большой интеллектуальный долг перед Гегелем, что его наследие пришло к нам через Маркса, который использовал существенные фрагменты гегельянской системы в собственных целях. Маркс воспринял от Гегеля утверждение о фундаментальной историчности деяний человека, понятие о том, что человеческое общество развилось от первобытных социальных структур к более сложным и высокоразвитым. Он также соглашался, что исторический процесс в основе своей диалектичен, то есть что ранние формы политической и социальной организации содержали внутренние «противоречия», которые стали со временем очевидны, привели к краху этих форм и замене их чем-то высшим. И Маркс разделял веру Гегеля в возможность конца истории. То есть он предвидел окончательную форму общества, свободного от противоречий, и с достижением этой формы исторический процесс должен был прекратиться.

В чем Маркс отличался от Гегеля – в том, какое именно общество должно возникнуть в конце истории. Маркс считал, что либеральное государство не в состоянии разрешить одно фундаментальное противоречие – противоречие классового конфликта, борьбу между буржуазией и пролетариатом. Маркс обернул историзм Гегеля против самого Гегеля, утверждая, что либеральное государство представляет собой не универсализацию свободы, но победу свободы лишь для одного класса – класса буржуазии. Гегель верил, что отчуждение – отделение человека от самого себя и последующая потеря контроля над своей судьбой – адекватно разрешается в конце истории философским признанием, возможным в либеральном государстве свободы. Маркс же замечал, что в либеральном обществе человек остается отчужден от самого себя, поскольку капитал, создание человека, превращается в его владыку и хозяина и управляет им самим¹¹⁰. Чиновничество либерального государства, которое Гегель назвал «универсальным классом», так как оно представляет интересы народа в целом, по Марксу представляет лишь частные интересы внутри гражданского общества, то есть интересы господствующих в нем капиталистов. Гегель как философ не достиг абсолютного самосознания, но сам

¹¹⁰ Такая интерпретация Маркса стала модной в результате работы Георга Лукача «История и классовое сознание».

был продуктом своего времени, апологетом буржуазии. Конец истории в марксистском смысле наступит только с победой истинного «универсального класса», пролетариата, и последующим достижением глобальной коммунистической утопии, которая раз и навсегда положит конец классовой борьбе¹¹¹.

В наше время марксистская критика Гегеля и либерального общества настолько известна, что вряд ли стоит ее повторять. И все же монументальное поражение марксизма как базиса для реального общества – ставшее более чем очевидным через 140 лет после выхода «Коммунистического манифеста» – подняло вопрос о том, не была ли Универсальная История по Гегелю более пророческой. В середине нашего столетия этот вопрос поставил Александр Кожев, французский философ русского происхождения, который в тридцатых годах провел в Париже в *École Pratique de Hautes Études* серию семинаров, имевшую большой резонанс¹¹². Если Маркс был величайшим интерпретатором Гегеля в девятнадцатом веке, то Кожев явно был его величайшим интерпретатором в двадцатом. Как и Маркс, Кожев не считал себя обязанным всего лишь истолковать мысль Гегеля, но развивал ее творчески, строя на ней собственное понимание современности. Раймон Арон дает нам взглянуть на яркость и оригинальность Кожева:

«[Кожев] захватывал аудиторию интеллектуалов, склонных к сомнению и критике. Почему? Его талант, его диалектическая виртуозность в чем-то ему помогали... [Его ораторское искусство] было тесно связано с его личностью и предметом разговора. Предметом была и мировая история, и «Феноменология» [Гегеля]. Вторая проливали свет на первую. Все приобретало смысл. Даже те, кто с подозрением относится к разговорам об историческом провидении, кто подозревает искусственность под маской искусства, не могли устоять против волшебства, и в тот момент разумность, которую оратор наделял время и события, казалась вполне доказанной»¹¹³.

Стержнем учения Кожева было удивительное заявление, что Гегель был по сути прав и что мировая история, со всеми ее вывихами и поворотами, сделанными в последующие годы, на самом деле кончилась в 1806 году. Трудно прорваться сквозь слои иронии Кожева к тому, что он действительно хотел сказать, но за этим очевидно странным суждением кроется мысль, что принципы свободы и равенства, рожденные Французской революцией, воплотились в том, что Кожев назвал современным «универсальным и однородным государством», воплотившим конечный пункт идеологической эволюции человечества, вне которой дальнейший прогресс невозможен. Кожев, разумеется, знал о том, что после 1806 года произошло много кровавых войн и революций, но это он рассматривал по сути как «подтягивание провинций»¹¹⁴. Другими словами, коммунизм не являлся *высшим* состоянием по сравнению с либеральной демократией, он был частью *той же* стадии истории, которая в конце концов универсализирует распространение свободы и демократии на весь мир. Хотя большевистская и китайская революции казались в то время монументальными событиями, единственным долговременным эффектом их должно было стать распространение уже установленных принципов свободы и равенства

¹¹¹ По этим вопросам см. Shlomo Avineri, *The Social and Political Thoughts of Karl Marx* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).

¹¹² Лекции Кожева в *Ecole Pratique* приведены в *Introduction a la lecture de Hegel* (Paris: Gallimard, 1947), английский перевод *Introduction to the Reading of Hegel*, перевод James Nichols (New York: Basic books, 1969). Среди учеников Кожева было в последующие годы много прославленных имен: Raymond Queneau, Jacques Lacan, George Bataille, Raymond Aron, Eric Weil, Georges Fessard и Maurice Merleau-Ponty. Полный список см. Michael S. Roth, *Knowing and History* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1988), pp. 225–227. О Кожеве см. также Barry Cooper, *The End of History: An Essay on Modern Hegelianism* (Toronto: University of Toronto Press, 1984).

¹¹³ Raymond Aron, *Memoirs* (New York and London: Holmes and Meier, 1990), pp. 65–66.

¹¹⁴ Конкретнее: «После этой даты [1806] что произошло? Ничего вообще, *подтягивание* провинций. Китайская революция была всего лишь введением в Китае кодекса Наполеона». Из интервью в *La quinzaine littéraire*, 1–15 июня 1968 года, цитируется у Pota (Roth, 1988), стр. 83.

на ранее отсталые и угнетенные народы и понуждение развитых стран, уже живущих по этим принципам, к более полной их реализации.

Яркость мысли Кожева, как и ее необычность, видна из следующей выдержки:

«Наблюдая, что происходит вокруг меня, и обдумывая, что произошло в мире после битвы под Иеной, я понял, что Гегель был прав, когда видел в этой битве конец Истории, правильно его назвав. В этой битве и посредством ее авангард человечества фактически установил предел и цель, то есть конец исторической эволюции Человека. То, что происходило дальше, было не чем иным, как географическим распространением универсальной революционной силы, актуализованной во Франции Робеспьером – Наполеоном. С подлинно исторической точки зрения две мировые войны с их шлейфом больших и малых революций имели только один эффект: подтягивание отсталых цивилизаций периферийных провинций на уровень наиболее продвинутой (реально или виртуально) европейской исторической позиции. Если советизация России и коммунизация Китая хоть чем-то больше значат, чем демократизация имперской Германии (такая, которая была осуществлена гитлеризмом), или восхождение Того к независимости, или даже самоопределение папуасов, то лишь тем, что китайско-советская актуализация робеспьеровского бонапартизма обязывает постнаполеоновскую Европу ускорить устранение существенных и в той или иной степени анахронических последствий ее дореволюционного прошлого»¹¹⁵.

Полным воплощением принципов Французской революции были для Кожева страны послевоенной Западной Европы, то есть те капиталистические демократии, которые добились высокой степени материального изобилия и политической стабильности¹¹⁶, поскольку это были общества без сохранившихся фундаментальных «противоречий». Самоудовлетворенные и самоподдерживающиеся, они не имели дальнейших великих политических целей, за которые следовало бы бороться, и могли заниматься чисто экономической деятельностью. Кожев в конце жизни оставил преподавание ради административной работы в аппарате Европейского Сообщества. Конец истории, как он считал, означал не только конец масштабной политической борьбы и конфликтов, но и конец философии; а Европейское Сообщество казалось подходящим институтом для воплощения конца истории.

За Универсальными Историями, созданными монументальными трудами Гегеля и Маркса, последовали другие, не столь внушительные. Вторая половина девятнадцатого века видела достаточно много относительно оптимистичных теорий о прогрессивной социальной эволюции, в частности позитивиста Огюста Конта и социал-дарвиниста Герберта Спенсера. Последний считал, что социальная эволюция есть часть процесса биологической эволюции и подчиняется тем же законам выживания наиболее приспособленных.

¹¹⁵ Кожев, (1947), стр. 436.

¹¹⁶ Нельзя безоговорочно считать самого Кожева либералом, поскольку он часто высказывал страстное восхищение Сталиным и утверждал, что нет существенной разницы между Соединенными Штатами, Советским Союзом и Китаем пятидесятых годов: «Если американцы кажутся богатыми советокитайцами, то это потому, что русские и китайцы – это единственные американцы, которые до сих пор бедны, но быстро богатеют». Тем не менее тот же Кожев был верным слугой Европейского Сообщества и буржуазной Франции и верил, что «Соединенные Штаты уже достигли окончательного этапа марксистского «коммунизма», видя это практически в том, чтобы все члены «бесклассового общества» могли присваивать все, что им кажется хорошим, без необходимости работать для этого больше, чем душа пожелает». Определенно, послевоенные Америка и Европа реализовали «универсальное признание» полнее, чем сталинская Россия когда бы то ни было. Поэтому Кожева более правдоподобно определить как либерала, чем как сталиниста. Кожев (1945), стр. 436.

Двадцатый век также был свидетелем нескольких попыток создать Универсальные Истории – хотя и гораздо более мрачной окраски, – в том числе «Закат Европы» Освальда Шпенглера и «постижение истории» Арнольда Тойнби, который черпал вдохновение из книги Шпенглера¹¹⁷. И Шпенглер, и Тойнби делят историю на истории различных народов – «культур» у первого и «обществ» у второго, каждое из которых объявляется подчиненным некоторым единообразным законам роста и загнивания. Таким образом, они нарушили традицию, начатую христианскими историками и дошедшую до кульминации у Гегеля и Маркса, – считать историю человечества единообразной и направленной. В определенном смысле Шпенглер и Тойнби вернулись к циклической истории отдельных народов, свойственной греческой и римской историографии. Хотя обе работы в свое время широко читались, в них обеих есть похожий органический дефект: проведение сомнительной аналогии между культурой или обществом и биологическим организмом. Шпенглер остается популярным из-за своего пессимизма, и, по видимому, он оказал влияние на государственных деятелей вроде Генри Киссинджера, но ни один из этих авторов не достиг глубины своих немецких предшественников.

Последней значительной Универсальной Историей, написанной в двадцатом веке, была не работа отдельного исследователя, а коллективный труд группы специалистов по общественным наукам, в основном американцев, написанный после Второй мировой войны под общей рубрикой «теории модернизации»¹¹⁸. Карл Маркс в предисловии к английскому изданию «Капитала» утверждал, что «Страна, которая промышленно развита более других, показывает менее развитым образ их собственного будущего». Так было высказано, сознательно или нет, первое допущение теории модернизации. В большой мере опираясь на работы Маркса и социологов Вебера и Дюркхайма, теория модернизации утверждает, что промышленное развитие следует логически последовательной закономерности роста и в свое время создаст единообразные социальные и политические структуры, объединяющие разные культуры и страны¹¹⁹. Изучая такие страны, как Великобритания или Соединенные Штаты, которые ранее других индустриализовались и демократизировались, можно открыть общую закономерность, по которой в конечном счете будут развиваться все страны¹²⁰. В то время как Макс Вебер придерживается безнадежного и пессимистического взгляда на растущий рационализм и секуляризм исторического «прогресса» человечества, послевоенная теория модернизации придает его идеям решительно оптимистический и, как хочется сказать, типично американский оттенок. Хотя среди приверженцев теории модернизации нет согласия в том, какой будет нелинейная эволюция истории и есть ли у модернизации альтернативные пути, никто из них не сомневается, что история обладает направленностью и что в ее конце лежит либеральная демократия промышленно развитых стран. В пятидесятых и шестидесятых годах они с большим энтузи-

¹¹⁷ Max Beloff, «Two Historians, Arnold Toynbee and Lewis Namier», *Encounter* 74 (1990): 51–54.

¹¹⁸ Не существует единого текста, дающего авторитетное определение теории модернизации, и за много лет появилось много вариантов исходного проекта. Помимо работы Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1958), теория модернизации развивалась и в других работах Talcott Parsons, особенно *The Structure of Social Action* (New York: Mc-Graw-Hill, 1937), и в работах Edward Shils, *Toward a General Theory of Action* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1951) и *The Social System* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1951). Сокращенная и относительно доступная версия взглядов Парсонса (Parsons) содержится в его работе «Evolutionary Universals in Society», *American Sociological Review* 29 (June 1964): 339–357. В этой традиции написаны девять томов, спонсированных американским советом по социологическим исследованиям (American Sociological Research Council) между 1963 и 1975 годами, начиная с Lucian Pye, *Communication and Political Development* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963) и кончая Raymond Grew, *Crises of Political Development in Europe and the United States* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968). Обзоры истории этой литературы см. в статьях Samuel Huntington and Gabriel Almond в сборнике под редакцией Myron Weiner and Samuel Huntington *Understanding Political Development* (Boston: Little, Brown, 1987), а также Leonard Binder «The Natural History of Development Theory», *Comparative Studies in Society and History* 28 (1986): 3–33.

¹¹⁹ «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой лишь картину ее собственного будущего». К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 9.

¹²⁰ См., например, Lerner (1958), p. 46.

азмом хотели припрятать свою новую общественную науку, чтобы помочь обретшим независимость странам третьего мира в экономическом и политическом развитии¹²¹.

В конце концов теория модернизации пала жертвой обвинения в *этноцентричности*, то есть в том, что она возводит опыт развития Северной Америки и Западной Европы в ранг универсальной истины, не признавая ее «культуральной ограниченности»¹²². «В результате политической и культуральной гегемонии Запада, – писал один критик, – поощряется этноцентрическая точка зрения, что только политическое развитие Запада дает жизнеспособную модель»¹²³. Эта критика была глубже простого замечания, что есть много альтернативных путей, кроме тех, по которым пошли страны вроде Великобритании и Америки. Она ставила под вопрос само понятие модернизации, в частности вопрос о том, все ли страны захотят принимать западные принципы либеральной демократии и нет ли других равно жизнеспособных исходных и конечных культуральных пунктов¹²⁴.

Обвинение в этноцентризме прозвучало для теории модернизации похоронным звоном, поскольку социологи, формулировавшие эту теорию, придерживались тех же релятивистских допущений, что и их критики: они считали, что нет научной или эмпирической почвы, на которой можно защищать ценности либеральной демократии, и могли только оправдываться, что совсем не хотели быть этноцентричными¹²⁵.

Вполне допустимо сказать, что невероятный исторический пессимизм, порожденный двадцатым веком, дискредитировал почти все Универсальные Истории. Использование марксовской концепции «Истории» для оправдания террора в Советском Союзе, Китае и других коммунистических странах придало этому слову весьма зловещую коннотацию в глазах многих. Идея, что история имеет направление, смысл, что она движется поступательно или хотя бы что она всеобъемлюща, очень чужда многим направлениям мысли нашего времени. Говорить сейчас о Мировой Истории, как это делал Гегель, – значит вызвать фырканье и презрительное снисхождение со стороны интеллектуалов, которые считают, что воспринимают мир во всей его сложности и трагичности. И не случайно, что в нашем веке единственными достигшими какой-то популярности писателями Универсальной Истории были Шпенглер и Тойнби, опиравшие закат и разложение западных ценностей и институтов.

Но, хотя наш пессимизм и понятен, ему противоречит эмпирический ход событий второй половины столетия. И надо спросить себя, не становится ли наш пессимизм своего рода позой, принятой так же легко, как оптимизм в девятнадцатом веке. Потому что наивный оптимист, чьи ожидания обманулись, выглядит глупо, в то время как пессимист, прогнозы которого не оправдались, сохраняет вид серьезный и глубокомысленный. Так что идти второй дорогой безопаснее. Но появление демократических сил там, где никто не ожидал их существования,

¹²¹ Хотя концепция экономического развития достаточно интуитивна, это в меньшей степени относится к «политическому развитию». В этом понятии неявно скрыта иерархия исторических форм политической организации, которая для большинства ученых современной Америки находит свою кульминацию в либеральной демократии.

¹²² Таким образом, стандартный американский учебник для студентов-политологов гласит: «Литература о политическом развитии остается сильно нагруженной ориентацией демократического плюрализма на стабильность и упором на модифицирующие изменения... Концептуально неготовая иметь дело с радикальными изменениями и фундаментальными преобразованиями систем, американская социология пропитана нормативной приверженностью к порядку». James A. Bill and Robert L. Hardgrave, Jr., *Comparative Politics: The quest for Theory* (Lanham, Md.: University Press of America, 1973), p. 75.

¹²³ Mark Kesselman, «Order or Movement? The Literature of Political Development as Ideology», *World Politics* 26 no. 1 (October 1973): 139–154. См. также Howard Wiarda, «The Ethnocentrism of Social Science [sic]: Implication for Research and Policy», *Review of Politics* 43, no. 2 (April 1981): 163–197.

¹²⁴ Среди других критических работ этого направления можно назвать Joe Migdal, «Studying the Politics of Development and Change: The State of the Art» в сб. под редакцией Ada Finifter *Political Science: The State of the Discipline* (Washington, D.C.: American Political Science Association, 1983), pp. 309–321; а также Nisbet (1969).

¹²⁵ Так, Гэбриэл Алмонд (Gabriel Almond) в обзоре теории модернизации, отвечая на обвинения в этноцентризме, цитирует Lucian Pye, *Communications and Political Development*, утверждая, что «воспитание целого поколения в духе культурального релятивизма оказало свое действие, и социальные мыслители сейчас настораживаются от любой концепции, которая могла бы предполагать веру в «прогресс» или «стадии цивилизации»». Weiner and Huntington (1987), p. 447.

нестабильность авторитарных форм правления и полное отсутствие непротиворечивых *теоретических* альтернатив либеральной демократии заставляют нас снова поднять старый вопрос Канта: существует ли Универсальная История человечества, если смотреть с точки зрения куда более космополитичной, чем была возможна в кантовские времена?

Глава 6

Механизм желания

Давайте вернемся, так сказать, к началу и рассмотрим, не обращаясь к авторитетам прошлых теоретиков истории, вопрос: имеет ли история направление, и есть ли смысл думать, что может существовать универсальная эволюция в направлении либеральной демократии?

Для начала рассмотрим только вопрос о направленности истории, не задумываясь, подразумевает ли эта направленность прогресс в смысле морали и человеческого счастья. Действительно ли почти все общества развиваются в определенном направлении, или их истории движутся по циклическим или просто случайным путям?¹²⁶ Если верно последнее, то возможно повторение любой социальной или политической практики прошлого: может возвратиться рабство, европейцы коронуют принцев или императоров, а американские женщины утратят право голосовать. Если же история имеет направленность, то ни одна форма, ушедшая в прошлое, в одном и том же обществе не повторится (хотя в других обществах, находящихся на разных ступенях развития, она, естественно, может повториться на том же эволюционном пути).

Но если история никогда не повторяется, то должен существовать постоянно действующий и единообразный Механизм, или набор исторических причин, диктующий развитие эволюции в определенном направлении, который каким-то образом сохраняет в настоящем память о прошедших периодах. Циклические или случайные пути развития истории не исключают возможности социальных изменений и ограниченной регулярности в развитии, но они не требуют единого источника исторических причин. Они должны также включать в себя процесс дегенерации, который полностью стирает осознание прошедших достижений, потому что без возможности полного исторического *забвения* каждый последующий цикл строился бы, пусть в малом, на опыте предыдущих.

В первой попытке понять Механизм, который придает истории направленность, возьмем пример с Фонтенеля и Бэкона и положим ключом к направленности истории знание – в частности, знание о природном универсуме, который дает нам наука. Потому что если посмотреть на весь спектр социальных усилий человека, то единогласно признается недвусмысленно накапливающимся и направленным лишь одно из них: современная наука о природе. Невозможно сказать то же самое о живописи, поэзии, музыке или архитектуре: не является очевидным, что Раушенберг лучший художник, чем Микеланджело, или что Шёнберг как композитор превосходит Баха просто потому, что Раушенберг и Шёнберг жили в двадцатом веке; Шекспир и Парфенон являются в определенном смысле совершенством, и нет смысла говорить о «движении вперед» по отношению к ним. С другой стороны, естественные науки строятся на основе собственных достижений: сейчас определенные «факты», которые были скрыты от великого Исаака Ньютона, доступны любому студенту-физику просто потому, что этот студент родился позже. Научное понимание природы не циклично и не случайно: человечество не возвращается периодически к прежнему уровню невежества, и результаты современной науки не подвержены людским капризам. Люди обладают свободой предпочтения одних естественных наук другим и результатами могут пользоваться по своему усмотрению, но ни диктаторы, ни парламенты не могут отменить законов природы, как бы им этого ни хотелось¹²⁷.

¹²⁶ У циклической теории есть решительные сторонники и в наши дни. См. ответ Ирвинга Кристола (Irving Kristol) на мою исходную статью «End of History?», *The National Interest* 16 (Summer 1989): 26–28.

¹²⁷ Кумулятивность и прогрессивность природы современной науки оспаривал Томас Кун (Thomas Kuhn), указавший на разрывы и революционную природу изменений в науках. В самых радикальных своих утверждениях он вообще отвергал возможность «научного» познания природы, поскольку *все* «парадигмы», с помощью которых ученые понимают природу, в конечном счете оказываются непригодными. Имеется в виду, например, что теория относительности не просто добавила

Научное знание может накапливаться в течение долгих периодов, и оно оказывало последовательное, хоть зачастую неосознаваемое действие на формирование фундаментального характера человеческих обществ. Общества, знавшие металлургию железа и сельское хозяйство, весьма отличались от знавших лишь каменные топоры, охоту и собирательство. Но качественное изменение в отношении науки к историческому процессу произошло лишь с возникновением *современных* естественных наук, то есть с открытием научного метода такими людьми, как Декарт, Бэкон и Спиноза, в шестнадцатом-семнадцатом веках. Возможность покорения природы, открытая современной наукой, не является универсальной чертой всех обществ, она должна была быть создана в определенный исторический момент в определенных европейских сообществах. Но когда научный метод был найден, он стал общим достоянием человека разумного, потенциально доступным каждому, вне зависимости от культуры или страны. Открытие научного метода создало фундаментальное и не циклическое деление исторического времени на *до* и *после*. И в период «после» прогрессивное и непрерывное развитие современной науки создало направленный Механизм, объясняющий многие аспекты последующего исторического развития.

Первый из способов, которым современная наука порождает исторические изменения, одновременно направленные и универсальные, это военное соревнование.

Универсальность науки обеспечивает базис глобальной унификации человечества прежде всего из-за той превалирующей роли, которую играют в международной системе войны и конфликты. Современная наука дает решающее военное преимущество тем обществам, которые могут разрабатывать, производить и внедрять технологии наиболее эффективно, и относительное преимущество, созданное техническим превосходством, растет вместе с ростом скорости технологических изменений¹²⁸. Зулусские копья не могли противостоять британским винтовкам, какова бы ни была храбрость зулусов: владение наукой – вот причина, по которой европейцы в восемнадцатом-девятнадцатом веках покорили почти все страны, принадлежащие ныне к третьему миру, а диффузия этой науки из Европы позволяет третьему миру в двадцатом веке возвращать себе суверенитет.

Возможность войны – величайшая сила, вынуждающая общества к рационализму и к созданию единообразных социальных структур в различных культурах. Любое государство, желающее сохранить свою политическую автономию, вынуждено усваивать технологии своих врагов и соперников. И более того, угроза войны заставляет государства выстраивать свои социальные системы по чертежам, наиболее выгодным для создания и внедрения технологий. Например, государства должны иметь определенный размер, чтобы конкурировать с соседями, а это порождает сильные стимулы к национальной идентичности; необходимо иметь возможность мобилизации ресурсов в национальном масштабе, а это требует создания сильной центральной власти, имеющей полномочия взимать налоги и издавать законы, необходимо разру-

новые сведения к уже установленным истинам механики Ньютона, но показала, что вся ньютоновская механика в некотором фундаментальном смысле неверна. Однако скептицизм Куна к нашей теме не имеет отношения, поскольку научная парадигма не должна быть «верной» в каком бы то ни было окончательном эпистемологическом смысле, чтобы приводить к верным и далеко идущим выводам. Она всего лишь должна давать человеку возможность прогнозировать природные явления и в них вмешиваться. Тот факт, что механика Ньютона не годится при скоростях, близких к скорости света, и не подходит как теоретическая база для создания атомной электростанции или водородной бомбы, не значит, что она неадекватна при покорении природы в других аспектах – например, в морской навигации, передвижении с помощью парового двигателя или создании дальнобойной пушки. Более того, среди парадигм есть иерархия, установленная не человеком, а природой: теория относительности не могла быть открыта *до* открытия законов движения Ньютона. Именно эта иерархия парадигм обеспечивает преемственность и направленность движения научного знания. См. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, second edition (Chicago: University of Chicago Press, 1970), в особенности стр. 95–110, 139–143 и 170–173. Обзор критик Куна см. Terence Ball, «From Paradigms to Research Programs: Toward a Post-Kuhnian Political Science», *American Journal of Political Science* 20, no. 1 (February 1976): 151–177.

¹²⁸ Есть примеры, как менее технологически развитая страна «побеждала» более развитую: Вьетнам и Соединенные Штаты, Афганистан и Советский Союз, но причины этих поражений – слишком различные политические ставки с обеих сторон. Не приходится сомневаться, что в обоих этих случаях преимущество в технологии обеспечивало возможность победы.

шать различные формы региональных, религиозных и родственных связей, создающих угрозу национальному единству, требуется повышать уровень образования для создания элиты, способной работать с технологией, необходимо поддерживать контакт с сопредельными государствами и приглядывать за происходящим вдоль своих границ, а с появлением во времена Наполеоновских войн массовых армий появилась и необходимость хотя бы не закрывать беднейшим классам путь к гражданским правам, если государство хочет иметь способность к тотальной мобилизации. Все эти тенденции могли возникнуть и по другим мотивам – например, экономическим, – но война ставит вопрос о необходимости общественной модернизации ребром и устраивает этой модернизации решительную проверку.

Есть многочисленные исторические примеры так называемой «оборонной модернизации», когда страны были принуждены к реформам из страха перед военной угрозой¹²⁹. Великие централизующие монархии шестнадцатого и семнадцатого столетия вроде Франции Людовика XIII или Испании Филиппа II во многом ради того пытались консолидировать власть над своими территориями, чтобы обеспечить себе доходы, необходимые для оплаты войн с соседями. В семнадцатом веке эти монархии жили в мире всего лишь три года из ста; невероятные экономические требования армии были главным побудительным мотивом для центральных правительств, чтобы сломить власть феодальных и региональных институтов и создать то, что мы называем структурами «современного» государства¹³⁰. Победа абсолютной монархии, в свою очередь, оказала уравнивающее действие на французское общество, устранив привилегии аристократии и открыв двери для новых социальных групп, сыгравших критическую роль во Французской революции.

Аналогичный процесс произошел в Оттоманской империи и в Японии. Вторжение французской армии под командованием Наполеона в 1798 году в Египет потрясло египетское общество и повело к серьезной реформе египетской армии под командованием ее оттоманского паши Мухаммеда Али. Эта новая армия, обученная с помощью европейцев, оказалась столь успешной, что бросила вызов власти Турции над большей частью Ближнего Востока и заставила оттоманского султана Махмуда II предпринять серию далеко идущих реформ, повторяющих те, что были проведены европейскими монархами на два века раньше. Махмуд сломал старые феодальные порядки, перебил янычаров (элитный корпус дворцовой стражи), открыл в 1826 году сеть светских школ и резко усилил центральную власть чиновников. Точно так же превосходство морской артиллерии коммодора Перри решительно убедило японских *даймё*, что у них нет иного выбора, как открыть страну и принять вызов иностранной конкуренции. (Это прошло не без сопротивления; даже в пятидесятых годах девятнадцатого века артиллерист Такасима Сюхан был арестован за агитацию в пользу принятия западной военной технологии.) Под лозунгом «Богатая страна – сильная армия» новое руководство Японии заменило старые храмовые школы государственной системой принудительного образования, вместо воинов-самураев набрало массовую армию крестьян и ввело в национальном масштабе системы налогов, банков и валюты. Преобразование японского общества, выполненное в период реставрации Мэйдзи, и рецентрализация японского государства были продиктованы настойчивой необходимостью для Японии изучить и освоить западные технологии, чтобы не пасть жертвой европейского колониализма, как случилось с Китаем¹³¹.

В других случаях бывало, что позорное поражение в войне стимулировало проведение рационализирующих общественных реформ. Реформы фон Штайна, Шарнхорста и Гнайзенау

¹²⁹ См. Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1968), pp. 154–156. То же утверждается в работе Walt Rostow, *The Stage of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1960), pp. 26–27, 56.

¹³⁰ Huntington (1968), pp. 122–123.

¹³¹ Сравнение процессов модернизации в Турции и Японии см. сборник под редакцией Robert Ward and Dankwart Rustow, *Political Development in Japan and Turkey* (Princeton, N.H.: Princeton University Press, 1964).

в Пруссии были мотивированы тем, что Наполеон оказался способен разгромить страну в битве при Иене – Ауэрштадте только из-за отсталости прусского государства и его отчужденности от общества. Военные реформы, такие как учреждение всеобщей воинской повинности, сопровождались введением в Пруссии кодекса Наполеона – событие, которое Гегель отметил как приход в Германию современности¹³². Россия – пример страны, где модернизация и реформы за последние 350 лет происходили главным образом из-за военных амбиций и неудач¹³³. Военная модернизация была корнем усилий Петра Великого превратить Россию в современную ему европейскую монархию; город Санкт-Петербург изначально планировался как военно-морская база в устье Невы. Поражение России в Крымской войне непосредственно повело к реформам Александра Второго, в том числе освобождению крестьян, а поражение в Русско-японской войне сделало возможными либеральные реформы Столыпина и период экономического роста с 1905 по 1914 год¹³⁴.

Возможно, наиболее свежим примером оборонной модернизации была начальная фаза *перестройки* Михаила Горбачева. Из его речей и речей других советских руководителей совершенно ясно, что главной причиной предпринятой фундаментальной реформы советской экономики было осознание, что без реформ у Советского Союза в двадцать первом веке возникнут серьезные трудности с сохранением конкурентоспособности, экономической и военной. В частности, Стратегическая Оборонная Инициатива (СОИ) президента Рейгана представляла серьезную угрозу, потому что из-за нее целое поколение советских ядерных вооружений могло сразу оказаться устаревшим, и эта инициатива переносила соревнование сверхдержав в область микроэлектроники и прочих новых технологий, где у Советского Союза было серьезное отставание. Советские руководители, в том числе многие военные, понимали, что с унаследованной от Брежнева коррумпированной экономической системой не удержаться на уровне в мире СОИ, и потому готовы были пойти на кратковременное отступление ради долговременного выживания¹³⁵.

Таким образом, как это ни парадоксально, постоянные войны и гонки вооружений между народами играют роль мощного унификатора. Даже если война иногда ведет к разрушению государств, она заставляет их принимать современную технологическую цивилизацию вместе с теми общественными структурами, которые эту цивилизацию поддерживают. Современная наука навязывает себя человеку, хочет он этого или нет: у большинства стран нет возможности отвергнуть технологический рационализм современности, если они хотят сохранить свою самостоятельность. В этом мы видим подтверждение истинности наблюдения Канта, что исторические изменения приходят в результате «антиобщественной общественности» человека: не

¹³² О прусской реформе см. Gordon A. Craig, *The Politics of the Prussian Army 1640–1945* (Oxford: Oxford University Press, 1955), pp. 32–53, и Hajo Holborn, «Moltke and Schlieffen: The Prussian-German School» в сб. под редакцией Edward Earl *The Makers of Modern Strategy* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1948), pp. 172–173.

¹³³ Alexander Gershenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1962), p. 17. Такого рода реформа «сверху» является, конечно, обоюдоострой: разрушая старые, традиционные или феодальные институты, она создает новые, «современные» формы бюрократического деспотизма. В случае Петра Великого Гершенкрон указывает на то, что модернизация повела к усилению гнета российского крестьянства.

¹³⁴ Много есть и других примеров модернизации по военной необходимости, как, скажем, «Сто дней» в Китае, запущенных поражением Китая от Японии в 1895 году, или реформы шаха Резы в двадцатых годах после советских и британских вторжений в 1917–1918 годах.

¹³⁵ Тем не менее высшие советские военные чины, такие как бывший начальник Генерального штаба маршал Огарков, не считали радикальные экономические реформы и демократизацию решением проблемы модернизации вооруженных сил. Необходимость сохранить конкурентоспособность в военной области была для самого Горбачева более весомым фактором в 1985–1986 годах, чем в последующий период. Когда цели *перестройки* стали более радикальными, боевая готовность отошла на второй план перед более серьезными внутренними задачами. К началу девяностых годов процесс реформ сам по себе резко ослабил советскую экономику и понизил ее военную конкурентоспособность. Обзор взглядов советских военных на необходимость экономических реформ см. Jeremy Azrael, *The Soviet Civilian Leadership and the Military High Command, 1976–1986* (Santa Monica, Calif.: The RAND Corporation, 1987), pp. 15–21.

сотрудничество, а конфликт заставляет людей объединяться в общества, а потом полнее развивать потенциал этих обществ.

На какой-то период можно избегать требований технологического рационализма, если государство размещается на изолированной или не привлекающей соперников территории. Бывает, что странам просто везет. Исламская «наука» не способна была создать истребители-бомбардировщики F-4 или танки «Чифтен», которые нужны были Ирану Хомейни для отражения агрессии амбициозного соседа – Ирака. Исламский Иран мог нападать на западный рационализм, который такое оружие производил, только потому, что имел возможность это оружие закупать на свои нефтяные доходы. Тот факт, что иранские муллы могли просто наблюдать, как хлещет из земли ценный ресурс, позволял им заниматься такими проектами, как распространение Исламской революции во всем мире – проектами, которые другие страны, такого счастья не имеющие, себе позволить не могли¹³⁶.

Второй способ влияния современной науки на направленность исторического процесса – это прогрессивное покорение природы с целью удовлетворения желаний человека, то, что мы по-другому называем экономическим развитием. Индустриализация – это не просто интенсивное внедрение техники в производственный процесс и создание новых машин. Это еще и применение человеческого разума к процессам социальной организации и создание рационального разделения труда. Эти параллельные применения разума – для создания новых машин и для организации производственного процесса – принесли такой успех, который превзошел самые необузданные ожидания ранних пропагандистов научного метода. В Западной Европе доход на душу населения вырос к настоящему времени более чем в десять раз по сравнению с серединой восемнадцатого века, и уровень его тогда был уже выше, чем во многих современных странах третьего мира¹³⁷. Экономический рост вызвал некоторые единообразные преобразования во всех обществах, независимо от их исходной социальной структуры.

Современные естественные науки управляют направлением экономического развития, определяя постоянно меняющийся горизонт возможностей производства¹³⁸. Направление, в котором разворачивается этот технологический горизонт, весьма тесно переплетено с развитием все более разумной организации труда¹³⁹. Например, технологические улучшения связи и транспорта – строительство дорог, кораблей и портов, изобретение железных дорог и тому подобное – делают возможным расширение рынков, что, в свою очередь, позволяет значительно снизить экономические затраты за счет рациональной организации труда. Работы, которые были неприбыльными, когда завод продавал продукцию паре местных деревень, вдруг становятся рентабельными, если рынок распространяется на всю страну или даже на несколько

¹³⁶ Многие из этих тем сформулированы у Найпола (V.S. Naipaul), *Among the Believers* (New York: Knopf, 1981).

¹³⁷ Nathan Rosenberg and L.E. Birdzell, Jr., «Science, Technology, and the Western Miracle», *Scientific American* 263, no. 5 (November 1990): 42–54; о доходе на душу населения в восемнадцатом веке см. David S. Landes, *The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present* (New York: Cambridge University Press, 1969), p. 13.

¹³⁸ Технология и законы природы, на которых она основана, обеспечивают определенную регулярность и последовательность процесса изменения, но они никак не определяют характер экономического развития механически, как иногда подразумевают Маркс и Энгельс. Например, Michael Piore и Charles Sabel утверждают, что американская модель организации промышленности, в которой с девятнадцатого века делался акцент на массовое производство стандартизованных товаров и весьма детализированное разделение труда за счет пренебрежения искусством работника, не является необходимой, и странами с иными традициями, например Германией и Японией, была перенята в гораздо меньшей степени. См. *The Second Industrial Divide* (New York: Basic Books, 1984), pp. 19–48, 133–164.

¹³⁹ Мы будем пользоваться термином «организация труда» вместо более привычного «разделение труда», поскольку последний стал подразумевать все возрастающее разделение ручных работ на простые до отупения. Хотя такое и произошло в процессе индустриализации, имеются другие направления развития технологии, которые обращают этот процесс и заменяют ручные работы другими, гораздо большего интеллектуального содержания и сложности. Предвидение Маркса, что в индустриализованном мире рабочие станут просто придатками машин, в общем, не оправдалось.

стран¹⁴⁰. Рост производительности в результате этих перемен увеличивает масштаб международного рынка и требует еще большего разделения труда.

Требования рациональной организации труда диктуют определенные согласованные масштабные изменения в структуре общества. Индустриальное общество должно быть по преимуществу урбанистическим, поскольку только в большом городе можно найти адекватное предложение квалифицированного труда и поскольку в городах есть инфраструктура и услуги для поддержки больших и высокоспециализированных предприятий. Апартеид в Южной Африке рухнул в конечном счете потому, что строился на вере, будто черную рабочую силу можно как-то удержать вне городов. Чтобы рынки труда действовали эффективно, труд должен становиться все более мобильным: рабочие не могут быть постоянно привязаны к конкретной работе, месту или набору социальных отношений, но должны иметь свободу передвижения, изучения новых работ и технологий и продажи своего труда тому, кто предложит более высокую цену. Это оказывает сильное подрывное действие на традиционные социальные группы, такие как племена, кланы, большие семьи, религиозные секты и так далее. Эти группы могут создавать более удовлетворительные условия жизни с точки зрения человеческой натуры, но поскольку они не организованы на рациональных принципах экономической эффективности, они уступают место тем, которым такая организация свойственна.

Заменяют их «современные» бюрократические формы организации. Работники должны приниматься в эти организации на основе своей квалификации и способностей, а не в результате семейных связей или статуса; а производительность их труда измеряется согласно всеобщим установленным правилам. Современные бюрократии осуществляют рациональную организацию труда, беря сложные работы и разбивая их на иерархию более простых, многие из которых могут выполняться рутинно. Рациональная бюрократическая организация в долгосрочной перспективе, скорее всего, проникнет во все аспекты жизни общества индустриальной страны, независимо от того, является такая организация правительственным ведомством, профсоюзом, корпорацией, политической партией, газетой, благотворительным фондом, университетом или профессиональной ассоциацией. Американцев, работающих не по найму и потому не входящих ни в какую бюрократическую организацию, сейчас только один из десяти. Эта «непланируемая революция» повторилась во всех индустриализованных странах, независимо от того, социалистические они или капиталистические, и независимо от различий в религиозных и культурных основах доиндустриальных обществ, из которых они возникли¹⁴¹.

Это не доказывает, что промышленное развитие обязательно приводит к бюрократии постоянно растущего масштаба или к колоссальным промышленным объединениям. Начиная с некоторого уровня, эффективность больших бюрократий падает, пораженная недугом, который экономисты называют «неэкономичностью из-за масштаба» (*diseconomy of scale*), и поэтому более эффективной становится замена большой бюрократической структуры несколькими поменьше. И некоторые современные отрасли промышленности, например индустрия программного обеспечения, не обязаны размещаться в больших городах. Тем не менее эти более мелкие единицы должны быть организованы согласно рациональным принципам, и им нужна поддержка урбанизированного общества.

¹⁴⁰ Возникновение и распространение новых, все более специализированных задач предполагает, в свою очередь, новые приложения для технологии в производственном процессе. Адам Смит в «Богатстве наций» указывает, как сосредоточение на единственной простой работе часто открывает такие новые возможности для машинного производства, которые ускользнули бы от искусного ремесленника, внимание которого рассеяно между различными работами; следовательно, разделение труда зачастую приводит к созданию новой технологии – и наоборот. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 1976), pp. 19–20.

¹⁴¹ Чарльз Линдблом указывает, что в конце семидесятых годов половина американского населения работала в бюрократических структурах частного сектора, а еще тринадцать миллионов американцев работали в правительственных учреждениях страны, штата и местного самоуправления. См. Charles Lindblom, *Politics and Markets: The World's Political-Economic System* (New York: Basic Books, 1977), pp. 27–28.

Рациональная организация труда не должна рассматриваться как феномен, независимый по сути от технологических новшеств: и то, и другое есть аспект рационализации экономической жизни, первая – в сфере социальной организации, вторые – в сфере машинного производства. Карл Маркс считал, что производительность современного ему капитализма основывается главным образом на машинном производстве (то есть на применении технологий), а не на разделении труда, и надеялся, что когда-нибудь это разделение можно будет упразднить¹⁴². Технологии позволят стереть различия между городом и деревней, нефтяным бароном и фермером, банкиром и мусорщиком и создать общество, где человек сможет «охотиться утром, ловить рыбу днем, выращивать скот вечером и заниматься критикой после обеда»¹⁴³. Ничто из последующих событий в истории мирового экономического развития не подтверждает мысли, что это так: рациональная организация труда остается существенным элементом производительности современной экономики, хотя отупляющее действие неквалифицированного труда на человека смягчено прогрессом технологий. Попытки коммунистических режимов упразднить разделение труда и положить конец рабству специализации привели только к тирании более чудовищной, чем проклятая Марксом тирания на манчестерских фабриках¹⁴⁴. Мао стремился стереть различия между городом и деревней и между умственным и физическим трудом несколько раз, особенно заметно во время Большого скачка конца пятидесятых годов и Культурной революции десять лет спустя. Обе эти попытки привели к невообразимым человеческим страданиям, превзойденным только попыткой Красных Кхмеров слить город и деревню в Камбодже после 1975 года.

Ни организация труда¹⁴⁵, ни бюрократии¹⁴⁶ к моменту промышленной революции новыми не были, новой была только их тщательная рационализация согласно принципам экономической эффективности. Это требование рациональности накладывает единообразие на развитие индустриализованных обществ. Люди в доиндустриальных обществах могли преследовать тысячу и одну цель: религия или традиция говорили, что жизнь аристократа-воина выше жизни городского купца, священник мог на некоторые предметы устанавливать «справедливые цены». Но общество, живущее по таким правилам, не может эффективно распределять свои ресурсы, а поэтому не может экономически развиваться так же быстро, как живущее по правилам рациональным.

Для иллюстрации гомогенизирующей силы разделения труда рассмотрим его действия на общественные отношения на конкретных примерах. К моменту победы генерала Франко в гражданской войне Испания была по преимуществу сельскохозяйственной страной. Социальной базой испанских правых было местное дворянство и землевладельцы, способные мобилизовать себе в поддержку крестьян на основе традиций и личной преданности. Мафия, действующая хоть в Нью-Джерси, хоть в Палермо, своей сплоченностью обязана примерно аналогичным личным и семейным связям, как и власть местных полевых командиров, продол-

¹⁴² Маркс соглашался, что Адам Смит прав, подчиняя машинное производство разделению труда, но только относительно периода производства до конца девятнадцатого столетия, когда машины использовались лишь эпизодически.

¹⁴³ Трудно поверить, что это знаменитое пророчество из «Немецкой идеологии» было высказано всерьез. Помимо экономических последствий от отмены разделения труда, неясно, может ли такая дилетантская жизнь вообще кого-то устраивать.

¹⁴⁴ В этом отношении Советы были, в общем, разумнее, хотя у них тоже были свои пунктики насчет того, чтобы одновременно быть и «красным», и «спецом». См. Maurice Meisner, «Marx, Mao and Deng on the Division of Labor in History» в сборнике под редакцией Arif Dirlik and Maurice Meisner, *Marxism and the Chinese Experience* (Boulder, Colo.: Westview Press, 1989), pp. 79–116.

¹⁴⁵ Durkheim указывает, что концепция разделения труда все больше используется в биологических науках для характеристики не человеческих организмов и что одним из основных примеров этого явления выступает биологическое разделение труда между мужчинами и женщинами в создании детей. См. *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1964), pp. 39–41, 56–61.

¹⁴⁶ Большие и централизованные бюрократические системы были характерны для империй прежних времен, например, Китая и Турции. Однако эти системы не были созданы для оптимизации экономической эффективности, и потому были совместимы со стагнацией и традиционным общественным строем.

жающих определять жизнь деревни в таких странах третьего мира, как Сальвадор и Филиппины. Развитие экономики в Испании пятидесятых – шестидесятых годов ввело в испанской деревне рыночные отношения, тем самым проведя незапланированную социальную революцию, разрушившую традиционные отношения патрона и клиента¹⁴⁷. Массы крестьян оторвались от земли и ушли в города, лишив местное дворянство поддержки; сами землевладельцы перешли к более эффективным видам хозяйствования, ориентируясь на национальные и международные рынки, а крестьяне, оставшиеся в деревне, стали работниками по контракту, продающими свой труд¹⁴⁸. Появись Франко сейчас, он бы не нашел социальной базы, из которой мог бы набрать себе армию. Давление экономической рационализации объясняет также, почему мафия существует на сравнительно мало развитом юге Италии, а не на промышленном севере. Отношения патрона и клиента, основанные на внеэкономических связях, явно присутствуют в современном обществе – кто не знает, как продвигают детей начальства вне очереди или как нанимают на работу по знакомству, но обычно такие отношения объявляются незаконными и действуют тайно.

В данной главе мы пытались поставить вопрос: есть ли у истории направленность? Мы это сделали в намеренно наивной форме, поскольку среди нас полно пессимистов, готовых отрицать, что у истории есть какое бы то ни было направление. Мы выбрали естественные науки в качестве предполагаемого «механизма» направленных исторических изменений, потому что это единственная масштабная человеческая деятельность, единогласно признаваемая кумулятивной, а потому направленной. Поступательное движение современной науки позволяет понять многие конкретные подробности исторической эволюции, например, почему люди ездили на лошадях и железных дорогах и лишь потом стали передвигаться на автомобилях и самолетах, или почему современные общества более урбанизированы, чем более ранние, или почему в индустриальных обществах политическая партия, профсоюз или национальное государство сменили племя или клан в роли стержня групповой лояльности.

Но хотя современные естественные науки и могут объяснить некоторые явления достаточно очевидным образом, есть множество других явлений – начиная от форм правления, выбранных конкретными обществами, – которые наука объясняет лишь с большим трудом. Более того, хотя современная наука и может рассматриваться как возможный «регулятор» направленных изменений истории, она ни в коем случае не может считаться их *причиной*. Потому что немедленно возникает вопрос: *почему именно современная наука?* Пусть внутренняя логика науки объясняет, почему наука развивается именно так, как развивается, и делает то, что делает, сама наука не объясняет нам, почему человек развивает науку. Наука как социальное явление развивается не просто потому, что человек проявляет любопытство к устройству вселенной, но потому, что наука позволяет человеку удовлетворить свое желание безопасности и бесконечного приобретения материальных благ. Современные корпорации поддерживают научно-исследовательские работы не из абстрактной любви к знаниям, но чтобы зарабатывать деньги. Стремление к экономическому росту кажется универсальной характеристикой практически всех современных обществ, но если человек не есть просто экономическое животное, то мы сочтем приведенное выше объяснение неполным. К этому вопросу мы вскоре еще вернемся.

Мы сейчас не связываем никаких моральных или этических оценок с исторической направленностью, вызываемой современной наукой. Следует принять как данность, что такие явления, как разделение труда и растущая бюрократизация, глубоко двойственны в своем влиянии на счастье человека, как подчеркивали Адам Смит, Маркс, Вебер, Дюркхайм и другие

¹⁴⁷ Конечно, эти революции часто пользуются возможностью, предоставленной сознательным политическим вмешательством в виде земельной реформы.

¹⁴⁸ Juan Linz, «Europe's Southern Frontier: Evolving Trends toward What?» *Daedalus* 108, no. 1 (Winter 1979): 175–209.

социологи, впервые указавшие на эти факторы как на главные характеристики современной жизни. Мы никак не обязаны сейчас предполагать, что возможности современной науки по подъему экономической производительности делают человека более моральным, более счастливым или в чем бы то ни было лучшим, чем он был раньше. В качестве исходного пункта нашего анализа мы хотим предварительно показать наличие серьезных причин для предположения, что история, порожденная последовательностью действий современной науки, движется в едином согласованном направлении, и рассмотреть последствия, вытекающие из такого предположения.

Если открытия современной науки порождают направленность истории, естественно возникает вопрос: может ли этот процесс быть обращен вспять? Может ли исчезнуть доминанция научного метода над нашей жизнью, и возможен ли для индустриального общества возврат к до-современному, до-научному обществу? Короче говоря, обратима ли направленность истории?

Глава 7

Варваров у ворот нет

В фильме «Воин дорог» австралийского режиссера Джорджа Миллера дана картина нашей современной нефтяной цивилизации, рухнувшей в результате апокалиптической войны. Наука утрачена, современные вестготы и варвары носятся на «харлеях» и пескоходах, похищая друг у друга бензин и боеприпасы, потому что технология их добычи и изготовления утрачена.

Возможность катаклизма, разрушающего нашу современную технологическую цивилизацию и внезапно возвращающего человечество к варварству, всегда была любимым предметом научной фантастики, особенно в послевоенный период, когда изобретение атомного оружия сделало такую возможность весьма правдоподобной. Часто такое варварство, в которое рушится мир, является не чистым возрождением ранних форм общественной организации, но любопытной смесью старых общественных форм с современными технологиями, и герцоги с императорами летают на космолетах среди звезд. Но если наши допущения о взаимосвязи современной науки и современной общественной организации верны, то такие «смешанные» исходы не смогут существовать долго: без запрета на научный метод или отказа от него современная наука в конце концов себя восстановит и вынудит воссоздание многих аспектов современного, рационального социального устройства.

Так что давайте зададимся вопросом: может ли человечество в целом обратить направленность истории путем утери научного метода или запрета на него? Этот вопрос распадается на два: первый – может ли современная наука быть сознательно отвергнута существующими обществами; второй – может ли глобальный катаклизм послужить причиной невольной утраты современной науки?

Сознательный отказ от технологий и рационализованного общественного устройства предполагался многими группами, начиная от романтиков начала девятнадцатого века и кончая хиппи шестидесятых годов и аятоллой Хомейни с исламскими фундаменталистами. В настоящий момент источником наиболее последовательной и четкой оппозиции технологической цивилизации является экологическое движение. Современный энвайронментализм объединяет много различных групп и направлений, но наиболее радикальные среди них нападают в целом на весь современный проект овладения природой посредством науки и предполагают, что человек будет счастливее, если не манипулировать природой, но вернуть ее как можно ближе к исходному, до-индустриальному состоянию.

Почти все эти антитехнологические доктрины восходят к мысли Жан-Жака Руссо, первого философа нового времени, усомнившегося во благе исторического «прогресса». Руссо еще до Гегеля понимал историчность сути человеческого опыта и то, что сама человеческая природа со временем меняется. Но он в отличие от Гегеля считал, что исторические изменения идут человеку весьма не во благо. Говоря о способности современной экономики удовлетворять потребности человека, Руссо во «Втором рассуждении» указывал, что истинных потребностей у человека очень немного: нужно укрытие от стихий и пища; даже безопасность не является с необходимостью основным требованием, потому что она предполагает, будто люди, живя рядом друг с другом, естественно будут друг другу угрожать¹⁴⁹. Все прочие желания человека для счастья существенными не являются; они возникают из способности человека срав-

¹⁴⁹ То есть Руссо, в отличие от Гоббса и Локка, утверждает, что агрессия не является естественной для человека и неотъемлемой частью его естественного состояния. Поскольку у естественного человека Руссо потребностей мало, а те, что есть, относительно легко удовлетворяются, то нет причины грабить или убивать своих собратьев, нет причины на самом-то деле жить в гражданском обществе. См. *Discours sur l'Origine, et les Fondaments de l'inégalité parmi les Hommes* в *Oeuvres Complètes*, vol. 3 (Paris: Editions Gallimard, 1964), p. 136.

нивать себя с другими и считать себя обделенным, если у него нет того, что есть у других. Эти желания созданы современным консюмеризмом, иначе говоря – человеческой суетностью, или тем, что сам Руссо называет человеческой *amour-propre*. Проблема здесь в том, что эти новые желания, созданные самим человеком в исторические времена, бесконечно растяжимы, и их в принципе невозможно удовлетворить. Современная экономика, при всей ее невероятной эффективности и инновативности, создает на каждое удовлетворенное желание новое, которое также необходимо удовлетворить. Люди становятся несчастливы не потому, что не могут удовлетворить некоторый фиксированный набор желаний, но потому, что все время возникает разрыв между новыми желаниями и их исполнением.

Руссо иллюстрирует это явление примером коллекционера, который сильнее переживает пробелы в своей коллекции, нежели радуется тому, что уже имеет. Более современный пример можно найти в сегодняшней весьма инновативной промышленности электронных бытовых приборов. В двадцатых и тридцатых годах вершиной потребительских вожделений было радио в семье. Сегодня в современной Америке вряд ли найдется подросток, у которого не было бы несколько штук приемников и который не был бы при этом крайне неудовлетворен тем, что у него нет приставки «нинтендо», или портативного CD-плеера, или пейджера. И к тому же очевидно, что приобретение этих предметов не повысит степень его удовлетворенности, поскольку японцы сразу же придумают какой-нибудь новый прибор, который подросток возжаждет приобрести.

Как же может человек стать счастливым? По утверждению Руссо, для этого надо соскочить с беличьего колеса современной технологии и бесконечного цикла порождаемых ею желаний и восстановить в какой-то степени цельность человека естественного. Естественный человек не жил в обществе, не сравнивал себя с другими, не жил в искусственном мире страхов, надежд и ожиданий, созданных обществом. Он был счастлив ощущением собственного существования, жизнью естественного человека в естественном мире. Он не пытался покорить природу с помощью разума: в этом не было нужды, поскольку природа по существу является благой, и разум не был естественным для человека как одиночного существа¹⁵⁰.

Критика человека цивилизации у Руссо поставила первый и самый серьезный знак вопроса над проектом покорения природы как таковым, над точкой зрения, считающей леса и горы источником сырья, а не местами отдохновения и созерцания для человека. Эта критика Человека Экономического, увиденного Джоном Локком и Адамом Смитом, остается основой для большинства современных атак на неограниченный экономический рост и является (зачастую бессознательной) интеллектуальной базой почти всего современного энвайронментализма¹⁵¹. По мере того как прогрессируют индустриализация и экономическое развитие, а следующее из них разрушение естественной среды становится все более и более очевидным, критика экономической модернизации, предложенная Руссо, набирает все больше и больше сторонников. Можно ли представить себе возникновение крайне радикального энвайронментализма, который будет пытаться отвергнуть на базе обновленного руссоизма весь проект покорения природы, а также всю технологическую цивилизацию, которая на нем основана? Ответ, по разным причинам, скорее всего все-таки «нет».

¹⁵⁰ Обсуждения значения этой природной целостности и *sentiment de l'existence* у Руссо см. Arthur Melzer, *The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau's Thought* (Chicago: University of Chicago Press, 1990), в частности стр. 69–85.

¹⁵¹ Bill McKibben в работе *The End of Nature* (New York: Random House, 90) утверждает, будто мы вот-вот не оставим в природе ничего, не затронутого человеческой деятельностью. Конечно, это наблюдение верно, но Мак-Киббен ошибается в датировке этого момента лет на четыреста. Первобытные племенные сообщества тоже изменяли природные условия своего обитания; разница между ними и современными технологическими цивилизациями лишь в масштабах. Но проект покорить природу и заставить ее служить благу человека был ядром научной революции начала новых времен; и поздно сейчас начинать жаловаться на манипуляции с природой в принципе. То, что мы сегодня считаем «природой» – будь то озеро в национальном парке Анджелес или Адирондакская тропа, – во многих отношениях такой же результат человеческого искусства, как Эмпайр-Стейт-Билдинг или космический шаттл.

Первая причина этого связана с ожиданиями, порожденными теперешним экономическим ростом. Отдельные лица и небольшие группы могут «вернуться к природе», бросив работу банкиров или риелторов ради жизни у озера в Андиронакских горах, но отказ от технологии в масштабе всего общества означал бы полную де-индустриализацию американской или европейской страны или, скажем, Японии, и ее трансформацию, по сути, в бедную страну третьего мира. Наверное, стало бы меньше загрязнения вод и отравления воздуха, меньше контроля над рождаемостью, а потому и меньше сексуальной свободы. Вместо освобождения от цикла новых желаний большинство людей получило бы жизнь бедного крестьянина, привязанного к земле в бесконечном цикле изнурительной работы. Конечно, многие страны поколениями жили на уровне поддерживающего жизнь сельского хозяйства, и живущие тогда люди, без сомнения, достигали определенного уровня счастья, но возможность, что они могут к этому вернуться, испытав консюмеризм технологического общества, весьма сомнительна, и еще сомнительнее, что удастся уговорить на это целую страну. Более того, если останутся страны, которые не выберут де-индустриализацию, то жители деиндустриализованных стран будут иметь перед глазами постоянный пример для сравнения. Решение Бирмы после Второй мировой войны отвергнуть цель индустриализации, общую для остальных стран третьего мира, и остаться в международной изоляции могло сработать в доиндустриальном мире, но его очень тяжело оказалось придерживаться в регионе, полном процветающих Сингапуров и Таиландов.

Лишь немного менее фантастической кажется альтернатива частичного отказа от технологий с попытками как-то заморозить технологическое развитие на современном уровне или разрешать технологические новшества весьма селективно. Это могло бы помочь сохранить текущие жизненные стандарты, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но совершенно неясно, почему жизнь на произвольно выбранном уровне технологии окажется достаточно удовлетворительной. В ней не будет ни блеска динамичного и растущего общества, ни подлинного возврата назад к природе. Попытка заморозить технологии удавалась для малых религиозных групп, таких как аманиты и меннониты, но ее куда труднее было бы реализовать в большом и многослойном обществе. Социальное и экономическое неравенство, существующее в современных развитых обществах, является с политической точки зрения куда менее взрывоопасным, если подлежащий делению экономический пирог постоянно растет; и оно было бы куда более серьезным, если бы Соединенные Штаты стали похожи на огромную и застойную Восточную Германию. Далее, замораживание технологии на уже высоком уровне современных развитых стран вряд ли было бы радикальным решением для предотвращения экологического кризиса и не ответило бы на вопрос, выдержит ли глобальная экосистема, если страны третьего мира догонят развитые страны. Селективное допущение новшеств ставит трудные вопросы о том, какая власть будет решать вопрос о приемлемости технологий. Политизация новшеств неизбежно окажет замораживающее действие на экономический рост в целом.

Более того, защита окружающей среды, далеко не *требуя* отказа от современных технологий и созданного ими экономического мира, может в долгосрочной перспективе потребовать существования такого мира как своего предварительного условия. Вообще, если не считать крыла «Фунди» движения Зеленых в Германии и некоторых других крайностей, природоохранное движение в целом признает, что наиболее реалистичным решением проблем окружающей среды было бы создание альтернативных технологий либо технологий активной защиты среды. Здоровая окружающая среда – это роскошь, которую могут себе позволить обладатели богатства и экономического динамизма; а самые худшие разрушители окружающей среды, как в смысле избавления от ядовитых отходов, так и в смысле сведения тропических лесов, – это развивающиеся страны, относительная бедность которых не оставляет им другого выхода, кроме безоглядного использования природных ресурсов; либо такие страны, где не хватает общественной дисциплины для проведения в жизнь природоохранных законов. Несмотря на опустошения, вызванные кислотными дождями, площадь лесов на северо-западе

Соединенных Штатов и во многих местах Северной Европы сейчас выше, чем была сто или даже двести лет назад.

По всем этим причинам кажется маловероятным, чтобы наша цивилизация добровольно выбрала руссоистский вариант и отвергла ту роль, которую стала играть современная наука в нашей экономической жизни. Но давайте рассмотрим более экстремальный случай, когда такой выбор был бы не добровольным, а навязанным нам катаклизмом – либо глобальной ядерной войной, либо экологическим коллапсом, – который, вопреки всем нашим усилиям, подорвал бы основы нашей экономической жизни. Совершенно очевидно, что возможность уничтожить *плоды* современной науки существует; и действительно, современные технологии позволяют сделать это в течение нескольких минут. Но возможно ли уничтожить самое современную науку, освободить нас от тисков научного метода и навечно вернуть человечество на донаучный уровень цивилизации?¹⁵²

Давайте рассмотрим такой случай, как глобальная война с использованием оружия массового поражения. Со времен Хиросимы мы считаем, что такая война должна быть атомной, но то же самое может произойти в случае использования какого-нибудь нового ужасного биологического или химического агента. Полагая, что такая война не приведет к ядерной зиме или иному природному процессу, который сделает Землю полностью не обитаемой для человека, мы должны тем не менее предположить, что этот конфликт уничтожит большую часть населения, структуру власти и богатство воюющих сторон и, наверное, их главных союзников, причем для нейтральных наблюдателей последствия будут столь же опустошительными. Могут быть глобальные природные последствия, в результате которых военный катаклизм сольется с экологическим. Произойдут также серьезные изменения в мировой политике: воюющие стороны могут перестать быть великими державами, их территория будет поделена и оккупирована странами, которые сумели не влезть в конфликт, или будет отравлена настолько, что там никто жить не захочет. Война может охватить все технически развитые страны, способные производить оружие массового поражения, уничтожив их заводы, лаборатории, библиотеки и университеты, уничтожая знание о том, как делать оружие столь страшной разрушительной силы. И хотя остальной мир избежит прямых последствий войны, может возникнуть такое отвращение к войне и технологической цивилизации, что многие государства добровольно отвергнут передовое оружие и породившую его науку. Уцелевшие могут решить с большей убежденностью в своей правоте, чем теперь, отказаться от политики ядерного сдерживания, которая так явно провалила задачу спасти человечество от уничтожения, и поступать более умеренно и разумно: стараться контролировать новые технологии куда более тщательно, чем это принято в современном нам мире. (Экологическая катастрофа вроде таяния полярных шапок или опустынивания Северной Америки и Европы из-за глобального потепления может привести к той же попытке контролировать научные открытия, ведущие к катастрофе.) Ужасы, навлеченные на человечество наукой, могут привести к воскрешению антисовременных и антитехнологических религий, которые воздвигнут эмоциональные и моральные барьеры на пути создания новых и потенциально смертоносных технологий.

И даже в этих экстремальных обстоятельствах маловероятным кажется снятие тисков технологии с человеческой цивилизации и лишение науки возможности себя воспроизвести.

¹⁵² Сейчас нам не следует принимать допущение о благой роли современной науки или экономического развития, которое она за собой ведет, а потому не надо торопиться с суждением о том, как следует рассматривать возможность глобального катаклизма. Если наши исторические пессимисты окажутся правы и современная технология не послужит тому, чтобы люди стали счастливее, а вместо этого окажется их госпожой и уничтожительницей, то перспектива катаклизма, который, если можно так выразиться, сотрет все с доски и заставит человечество начать сначала, окажется проявлением благожелательности природы, а не ее жестокости. Такова была точка зрения таких классиков политической философии, как Платон и Аристотель, которые без всяких сантиментов считали, что все человеческие изобретения, в том числе их собственные работы, должны будут в конце концов пропасть при переходе человечества от этого цикла к следующему. По этому поводу см. Leo Strauss, *Thoughts on Machiavelli* (Glencoe, Ill.: Free Press 1958), pp. 298–299.

Причины этого снова-таки лежат в отношениях науки и войны. Поскольку даже если удастся уничтожить современное оружие и конкретные знания, позволяющие его создавать, нельзя будет уничтожить память о методе, который сделал это оружие возможным. Унификация современной цивилизации из-за современных средств транспорта и связи означает, что любая часть человечества знает о научном методе и его потенциале, даже если сейчас эта часть неспособна создавать технологии или успешно их применять. Так что, другими словами говоря, на самом деле у ворот нет варваров, не понимающих потенциала современной науки. И пока это так, государства, имеющие возможность применять науку для военных целей, будут иметь преимущество перед государствами, такой возможности лишенными. Бессмысленная разрушительность только что миновавшей войны не обязательно научит людей понимать, что никакая военная технология не может быть употреблена в разумных целях; могут появиться и новые технологии, о которых люди будут верить, что уж эти-то дают решающее преимущество. Хорошие страны, усвоившие урок умеренности, преподнесенный катастрофой, и пытающиеся контролировать технологии, которые эту катастрофу вызвали, скоро окажутся в окружении плохих стран, увидевших в катастрофе возможность для осуществления собственных амбиций. И, как учил Макиавелли в начале современной эпохи, хорошим государствам придется учиться у плохих, чтобы выжить и вообще остаться государствами.¹⁵³ Им понадобится поддерживать определенный уровень технологий, хотя бы для самозащиты, и уж точно придется поощрять технологические новшества в военной области, раз их противники будут такие новшества вводить. Даже колеблясь и стараясь не ослаблять контроля, хорошие государства, которые будут стараться держать новые технологии под контролем, вскоре вынуждены будут выпустить технологического джина из бутылки¹⁵⁴. Зависимость человека от науки после катаклизма может даже усиливаться, если она окажется по природе своей экологической, то есть если лишь с помощью науки можно будет сделать Землю снова обитаемой.

Воистину циклическая история возможна только в том случае, если мы допустим, что существующая цивилизация может исчезнуть полностью, не оставив никаких следов тем, кто придет потом. Но это фактически случалось до изобретения современной науки. Наука же столь сильна и в добре, и в зле, что очень сомнительно, может ли она быть забыта или «отменена» иначе как при полном уничтожении человеческого рода. И если давление поступательной современной науки необратимо, то направленная история и все разнообразные экономические, социальные и политические последствия ее также не обратимы ни в каком фундаментальном смысле.

¹⁵³ Как утверждает Strauss, «трудность, подразумеваемая допущением, что изобретения, относящиеся к искусству войны, должны поощряться, – единственная, создающая основу макиавеллиевской критики классической политической философии». Strauss, стр. 299.

¹⁵⁴ Альтернативным решением было бы заменить международную систему государств мировым правительством, которое могло бы силой ввести мораторий на опасные технологии, либо поистине глобальное соглашение об ограничении технологий. Помимо различных причин, по которым такого трудно было бы достичь даже в мире после катаклизма, проблема технических новшеств при этом вовсе не обязательно была бы решена. Научный метод по-прежнему останется доступным для криминальных групп, организаций национального освобождения или других диссидентов, и поведет к международному соревнованию технологий.

Глава 8

Бесконечное накопление

Нашей стране не повезло. В самом деле, этот марксистский эксперимент решили поставить на нас – судьба нас к нему толкнула. Вместо какой-нибудь африканской страны стали экспериментировать с нами. Кончилось тем, что мы доказали нежизнеспособность этой идеи. Нас просто толкнули с пути, по которому шли цивилизованные страны мира. И это сказывается сейчас, когда сорок процентов народа живет за чертой бедности, и хуже того, в постоянном унижении, когда приходится получать продукты по талонам. Это постоянное унижение, ежечасное напоминание, что ты раб в своей стране.

Борис Ельцин в речи на митинге «Демократической России» 1 июня 1991 года

Все, что мы до сих пор показали, – это что поступательное движение современной науки порождает направленность истории и некоторые единообразные изменения в различных странах и культурах. Технология и рациональная организация труда – это предварительные условия индустриализации, которая порождает, в свою очередь, такие социальные явления, как урбанизация, бюрократизация, ломка широких семейных и племенных связей и рост уровня образованности. Мы также показали, что господство современной науки над человеческой жизнью вряд ли можно обратить вспять при каких-либо предвидимых обстоятельствах, даже самых экстремальных. Но мы не показали, что наука каким-то неизбежным путем ведет к капитализму в сфере экономики или к либеральной демократии в политике.

В самом деле, есть примеры стран, прошедших первые этапы индустриализации, ставших экономически развитыми, урбанизированными и светскими, обладающих сильными и последовательными государственными структурами, но при этом не ставших ни капиталистическими, ни демократическими. Главным примером такой страны много лет служил сталинский Советский Союз, который между 1928 годом и концом тридцатых годов претерпел колоссальную трансформацию из аграрной страны в индустриальную державу, не предоставив своим гражданам ни политической, ни экономической свободы. И действительно, скорость, с которой произошло это преобразование, с виду служила для многих доказательством, что централизованное планирование под защитой тирании полицейского государства *более* эффективно в достижении быстрой индустриализации, чем деятельность свободных людей на свободных рынках. Исаак Дойчер, писавший в пятидесятых годах, мог еще утверждать, что экономика с центральным планированием эффективнее анархически действующей рыночной экономики и что национализированная промышленность лучше осуществляет модернизацию заводов и оборудования, чем промышленность частного сектора¹⁵⁵. Существование до 1989 года стран Восточной Европы, одновременно экономически развитых и социалистических, вроде бы показывало совместимость централизованного планирования с экономической современностью.

Одно время эти примеры из коммунистического мира заставляли предположить, что поступательное развитие современной науки может с тем же успехом приводить к рациональной и бюрократической тирании из кошмара Макса Вебера, что и к открытому, творческому и либеральному обществу. Значит, наш Механизм должен быть расширен. Он должен не только

¹⁵⁵ О Дойчере (Deutcher) и других авторах, веривших в будущую конвергенцию Запада и Востока на основе социализма, см. Alfred G. Meyer, «Theories of Convergence» в сб. под редакцией Charles Johnson *Change in Communist Systems* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1970), pp. 321 ff.

объяснять, почему экономически развитые страны являются урбанизированными обществами и рациональными бюрократиями, но и показывать, почему следует ожидать в конце концов эволюции в направлении экономического и политического либерализма. В этой главе и в следующих мы исследуем отношения нашего Механизма к капитализму в двух различных случаях: в развитых индустриальных обществах и в развивающихся. Установив, что Механизм в некотором отношении определяет неизбежность капитализма, мы вернемся к вопросу о том, следует ли ожидать, что он порождает также и демократию.

Вопреки предубеждению, которое питают к капитализму традиционно-религиозные правые и марксистско-социалистические левые, объяснить окончательную победу капитализма как единственной жизнеспособной экономической системы в мире с помощью Механизма легче, чем победу либеральной демократии в политической сфере. Это потому, что в области разработки и использования технологий, а также в приспособляемости к быстро меняющимся условиям глобального разделения труда капитализм оказался куда более эффективен, чем системы централизованного планирования, *в условиях зрелой индустриальной экономики.*

Индустриализация, как мы теперь знаем, – это не одноразовое мероприятие, быстро продвигающее страну к экономической модернизации, но постоянно развивающийся процесс без ясной конечной цели, при котором сегодняшняя современность завтра быстро становится древностью. Средства удовлетворения того, что Гегель назвал «системой потребностей», постоянно изменяются по мере того, как изменяются сами потребности. Для теоретиков прошлого вроде Маркса и Энгельса индустриализацию составляла легкая промышленность вроде текстильных мануфактур в Англии или фарфорового производства во Франции. Потом произошло распространение железных дорог, черной металлургии, химической промышленности, кораблестроения и других видов тяжелой промышленности, рост объединенных национальных рынков, которые составляли современную промышленность для Ленина, Сталина и их советских последователей. Великобритания, Франция, США и Германия достигли этого уровня развития примерно к Первой мировой войне; Япония и остальная Западная Европа – к моменту Второй мировой, а Советский Союз и Восточная Европа – в пятидесятые годы. Сегодня они составляют образец промежуточной и давно пройденной для передовых стран фазы промышленного развития. Стадию, сменившую эту фазу, называли по-разному: «зрелое индустриальное общество», стадия «высокого массового потребления», «эра техноэлектроники», «век информации» или «постиндустриальное общество»¹⁵⁶

¹⁵⁶ Термин «высокое массовое потребление» принадлежит Уолту Ростоу (Walt Rostow), в *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* [Cambridge: Cambridge University Press, 1960], «техноэлектронная эра» – Збигневу Бжезинскому (Zbigniew Brzezinski, в *Between Two Ages: America's Role in Technetronic Era*, New York: Viking Press, 1970), а «постиндустриальное общество» – Дэниелу Беллу (Daniel Bell); см. его работу «Notes on the Post-Industrial Society» I и II, *The Public Interest* 6–7 (Winter 1967a): 24–35 и (Spring 1967b): 102–118, и его описание источника концепции «постиндустриального общества» в *The Coming of Post-Industrial Society* (New York: Basic Books, 1973), pp. 33–40.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.